

Humanitas

Нестор Котляревский

Декабристы



Humanitas

Нестор Котляревский

**Декабристы**

«ЦГИ Принт»

2015

УДК 882  
ББК 83.3 Р7

**Котляревский Н. А.**

Декабристы / Н. А. Котляревский — «ЦГИ Принт»,  
2015 — (Humanitas)

ISBN 978-5-98712-168-9

Книга известного публициста, литературоведа, критика посвящена жизнеописанию А. И. Одоевского, А. А. Бестужева, К. Ф. Рылеева. История нашего литературного развития сохранит на своих страницах их имена. Люди, о которых автор хотел напомнить читателю, имели в жизни своей две святыни: гуманный идеал, проясненный политической мыслью, за которую они пострадали, и художественную почву, которая радовала их в дни свободы и утешала в дни несчастья. В очерках, посвященных их памяти, одинаковое внимание уделяется и их политическим размышлениям, и их поэтическим грезам. Автор стремился достигнуть наибольшей полноты в подборе фактов, относящихся к биографии этих мыслителей, и в подборе сведений об их политической деятельности. В том вошли две книги: «Декабристы А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность» (1907) и «Рылеев» (1908). В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 882  
ББК 83.3 Р7

ISBN 978-5-98712-168-9

© Котляревский Н. А., 2015  
© ЦГИ Принт, 2015

## Содержание

Князь Александр Иванович Одоевский	6
I	9
II	14
III	16
IV	19
V	24
VI	27
VII	28
VIII	32
IX	36
X	39
XI	42
XII	44
XIII	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Нестор Котляревский

## Декабристы

Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института философии Российской академии наук

© С. Я. Левит, составление серии, 2015

© Центр гуманитарных инициатив, 2015

\* \* \*

День 14 декабря 1825 года – скорбный день в летописях нашей словесности. Из немногочисленной литературной семьи того времени вспышка политической страсти вырвала сразу несколько молодых даровитых писателей. На долгие годы затерялись они в толпе своих товарищей по несчастью – каторжных, поселенцев и солдат.

В кружке декабристов поэзия и поэтическое творчество были, как известно, в большом почете. Политика не мешала, а способствовала культуре искусства. Но истинных новаторов в творчестве среди этих политических деятелей не было; были люди лишь с более или менее крупным дарованием.

История нашего литературного развития сохранит на своих страницах имена К. Ф. Рыльева, А. А. Бестужева, князя А. И. Одоевского и В. К. Кюхельбекера. Их жизнеописанию и литературным трудам посвящены эти очерки.

Теперь настало время, когда на могиле писателей можно поставить достойный их памятник, и автор смотрел на свою работу как на первый шаг к выполнению этого долга.

Люди, о которых он хотел напомнить читателю, имели в жизни своей две святыни: гуманный идеал, проясненный политической мыслью, за которую они пострадали, и художественную мечту, которая радовала их в дни свободы и утешала в дни несчастья. В очерках, посвященных их памяти, должно быть уделено одинаковое внимание и политическим их мыслям, и поэтическим их грезам.

Автор и руководствовался этим соображением. Он стремился достигнуть наибольшей полноты в подборе фактов, относящихся к биографии упомянутых писателей, и в подборе сведений об их политической деятельности. Возможно большую точность и полноту хотел соблюсти он и в обзоре их литературных трудов, не считаясь с тем, что эти труды от времени сильно пострадали.

\* \* \*

Очерк жизни и творчества К. Ф. Рыльева служит продолжением работы, изданной автором в 1907 году под заглавием «Декабристы А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность».

План работы остался тот же, но только автор, чтобы не отсылать читателя к полному собранию стихотворений Рыльева, счел нужным внести в текст все стихи, за которыми сохранилась историческая или литературная ценность.

## Князь Александр Иванович Одоевский

Стихотворения Александра Ивановича Одоевского<sup>1</sup> почти совсем забыты, и даже имя его в перечне наших поэтов двадцатых и тридцатых годов упоминается редко.

Причины такого забвения более чем понятны. Александр Иванович родился поэтом, и очень искренним поэтом, но он таил свои стихи от чужого глаза и редко кому позволял их подслушать.<sup>2</sup> Почти все его стихотворения были записаны его друзьями, иногда по памяти, и он сам, вероятно, менее чем кто-либо мог думать, что эти импровизации, эти слова, сказанные в утешение самому себе или товарищам, составят со временем сборник, который не позволит забыть о нем, как о поэте. Было ли это скромностью или гордыней художника, который считает «ложью» всякое «изреченное» слово, бессильное передать глубину мысли и чувства, его породивших, было ли это просто беспечностью с его стороны<sup>3</sup> – но только Одоевский составлял исключение в семье художников; и глубоко верующий в бессмертие своей души, совсем не желал бессмертия для тех звуков, какими она откликалась на мимолетные впечатления жизни. Он сам торопил для себя наступление минуты забвения.

Она с неизбежностью наступила быстро и в силу внешних обстоятельств. Одоевскому было 22 года, когда его сослали на каторгу, и его стихи стали, как он сам выражался, «песнями из гроба». Это верно также и в том смысле, что все его стихотворения, кроме одного, появились в печати уже после его кончины. Само собою разумеется, что под ними первое время не могло стоять имени автора. Но даже если бы это имя и стояло, стихи Одоевского, взятые порознь, едва ли могли произвести большое впечатление и остаться надолго в памяти: они – как те цветы, которые издают сильный аромат лишь тогда, когда собраны и связаны в целом букете.

В истории русской лирики двадцатых и тридцатых годов поэзия Одоевского может занять свое место в ряду тех непринужденноискренних, пережитых и прочувствованных, сильных своей простотой и почти совсем неэффектных лирических стихотворений, которые писались в те годы Пушкиным и его друзьями. Песни Одоевского той же высокой пробы, что и лирика этой плеяды. В них поражает та же тщательная отделка стиха, редкое гармоничное сочетание формы с содержанием при отсутствии в этой форме излишне узорного или недосказанного, неясного, то же умение менять и тон, и ритм, та же способность одинаково просто выражать весьма разнообразные настроения и чувства. Стихи Одоевского, изданные в свое время, т. е. в конце тридцатых годов, завершили бы собой тот цикл художественной лирики, которая в Пушкине нашла себе лучшего выразителя и в которую затем Полежаев, Лермонтов и Огарев внесли новую резкую ноту душевной тревоги и эффектного, иногда вычурного, самолюбования. Песня Одоевского могла бы быть одной из последних песен, в которых выразилось уже отходившее в прошлое религиозно-сентиментальное, в общем оптимистическое мирозерцание, не позволявшее человеку слишком болезненно ощущать разлад мечты и жизни.

И действительно, Александр Иванович, который более чем кто-либо имел основание быть в обиде на жизнь и людей, избегал подчеркивать то противоречие, в каком его личность, умственно и нравственно высокая, стояла к окружающей его обстановке и к историческому

<sup>1</sup> Полное собрание стихотворений князя А. И. Одоевского. Собрал барон А. Е. Розен. СПб., 1883; Сочинения князя А. И. Одоевского. С биографическим очерком и примечаниями, составленными М. Н. Мазеевым. – Ежемесячное приложение к журналу «Север» за июль 1893 г.; Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862, с. 7-44. Кроме кратких упоминаний в некоторых общих обзорах русской словесности, А. И. Одоевскому посвящена статья А. Н. Сиротинина «Князь А. И. Одоевский. Биографический очерк» – Исторический вестник. 1883. Май. См. также: *Тимирязев В. А.* Пионеры просвещения в Западной Сибири. – Исторический вестник. 1896. LXIV, с. 638–639.

<sup>2</sup> Барон Розен ошибается, утверждая, что некоторые мелкие стихотворения Одоевского были напечатаны Пушкиным в «Литературной Газете» (*Розен А.* В ссылке: Записки декабриста. М., 1900, с. 210). Единственное при жизни автора напечатанное стихотворение было «Сен Бернар», которое Плетнев поместил в «Современнике» 1838 г. (Т. X, отд. III, с. 167).

<sup>3</sup> Ср. *Мазеев М.* – Сочинения А. И. Одоевского, с. XI.

моменту, свидетелем которого он явился. В его мирозерцании было много религиозно-идеалистических элементов,<sup>4</sup> которые не мешали поэту жить страстями, но как-то не позволяли этим страстям обращать все душевные порывы, все набегающие мысли в предлог для неприемлемо враждебного отношения к жизни вообще и к людям в частности. Знакомясь с духовной жизнью нашего писателя, насколько, конечно, эта полная смысла жизнь отражается в его случайных поэтических заметках, видишь, что первой житейской мудрости он учился у того sentimentalного либерализма, который, несмотря на все предостережения, был так силен во все царствование Александра I, и что поэту не остались чужды те оптимистические взгляды на мир и судьбу человека, к которым вообще имели пристрастие люди его времени, серьезно воспитанные на идеалистической философии Запада или только усвоившие себе ее конечные выводы.

Этот религиозный склад ума Одоевского и спокойствие его духа подтверждаются не только его стихами, но и тем впечатлением, которое он производил на людей, способных оценить его редкие, не бросающиеся в глаза душевные качества. Если Огарев, который встретил Одоевского в конце тридцатых годов солдатом на Кавказе, был не только поражен, но и умилен его личностью, то это понятно: сам Огарев в эти годы искал в религии разгадки смысла жизни. Но любопытно, что такое же глубокое впечатление Одоевский произвел на натуру, совсем с ним несходную, на Лермонтова, с которым тот же случай свел его на Кавказе. Лермонтов едва ли был готов понять Одоевского по своему темпераменту и по своим взглядам, но и он преклонился перед «гордой верой» Одоевского «в людей и жизнь иную», хотя и придал его облику оттенок горделивой замкнутости и разлада со «светом» и «толпой» – эти ему самому, Лермонтову, – столь привычные ощущения.

Когда затем Лермонтов говорил, обращаясь к Одоевскому:

Дела твои, и мненья,  
И думы, – всё исчезло без следов,  
Как легкий пар вечерних облаков:  
Едва блеснут, их ветер вновь уносит;  
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит...

он был не совсем прав. Если бы он знал эти думы, как знаем их мы, он не задал бы им вопроса, зачем они и откуда; он признал бы в них, как и в поступках поэта, – проявление цельного мирозерцания, оптимистического, с большой дозой благодушия, доверия к судьбе и к людям, либерального и полного религиозной веры сначала в близкое, а затем в конечное торжество гуманного идеала.

Лермонтов, типичный представитель разочарованного протеста, скептик и сын николаевской эпохи, мог видеть в Одоевском живой пример старшего поколения. Перед ним был один из тех, кто также протестовал, но примирился с проигрышем, идеалист, человек, которого никакие житейские невзгоды не заставили усомниться в том, во что он верил, каторжник со «звонким детским смехом и живой речью, постоянно бодрый и веселый, снисходительный к слабостям своих ближних, христианин, сердце которого было обильнейшим источником чистейшей любви, гражданин, страстно любящий родину свой народ и свободу в высоком смысле общего блага и порядка».<sup>5</sup>

Таким либералом и сентименталистом alexандровской формации умер этот человек случайно в 1839 году, накануне эпохи, когда, после десятилетней растерянности и долгого

---

<sup>4</sup> Это был христианский идеализм, который выразился у Одоевского наиболее симпатичным образом. *Пытин А. Н.* Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1885, с. 456–457.

<sup>5</sup> *Розен А.* – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 9, 10.

выжидания, стал слагаться новый тип певца, более сердитого, желчного, недоверчивого, скептически относящегося ко многим прежним иллюзиям, а потому порой и большого пессимиста.

А как много оснований имел Александр Иванович стать пессимистом!

## I

О жизни Одоевского сохранилось немного сведений, да и само слово «жизнь» как-то не подходит к тому, что с ним в жизни случилось.

Родился он в 1802 г., на заре великих обещаний александровского царствования, в одной из самых родовитых и старых дворянских семей России. Семья была большая, богатая, патриархальная по нравам, и жила она очень дружно. Александр Иванович был окружен в ней любовью и лаской.

Особенно нежная любовь связывала его с матерью, которую он потерял рано и память о которой стала одним из самых дорогих и поэтичных образов его фантазии.

Вся сокровенная сущность его нежной и сентиментальной души открывается нам в его словах и воспоминаниях об этой женщине. «Я воспитывался, – говорил он своим судьям, – дома моею матерью, которая не спускала меня с глаз по самую свою кончину. Ее неусыпное попечение о моем воспитании, 18 лет ее жизни, совершенно посвященные на оное, – все это может подать некоторое понятие о правилах, мне внушенных. Мать моя была моею постоянною и почти единственною наставницею в нравственности».<sup>6</sup> Он называл ее в письмах к друзьям «вторым своим Богом»; он не мог думать о ней, этой «ангельской матушке», без глубокого волнения лет шестнадцать спустя после ее смерти.<sup>7</sup>

А в первую минуту разлуки с ней он был совсем подавлен. Он писал тогда: «Жестокая потеря унесла с собою лучшую часть моих чувств и мыслей. Я был как шальной. Я грустен был, я был весел, как не бываю ни весел, ни грустен. Самая тонкая и лучшая струна лопнула в моем сердце».<sup>8</sup>

«Я лишился ее и еще наслаждаюсь жизнью! Конечно, уж это одно испытание доказывает некоторую твердость или расслабление моего воображения, которое не в силах представить мне всего моего злосчастия. Я слаб, слабее, нежели самый слабый младенец, и потому кажусь твердым. Я перенес все – от слабости!»

«Она была для меня матерью, наставником, другом, божеством моим. Я лишился ее, когда сердце уже могло вполне чувствовать ее потерю; вот что судьба определила мне в самые радостные минуты зари нашей жизни».<sup>9</sup>

Через год после смерти матери (1820) поступил он на службу в Конногвардейский полк<sup>10</sup> и «пять лет был неизменно хорошего поведения»,<sup>11</sup> – как он сам себя аттестует.

Жилось ему весело: от матери он получил достаточное наследство в 1000 душ и один управлял ими. Он был «богат, счастлив, любим и уважаем всеми. Никогда никакого не имел неудовольствия ни по службе, ни в прочих отношениях его жизни». «И чего было мне желать?» – восклицал он с грустью в одном из своих показаний.

Служба, конечно, не доставляла особых затруднений, если не считать разных походов и стоянок в западном крае, куда его полку случалось отправляться на маневры. Но Одоевский благодаря своей жизнерадостности и после этих утомительных и невеселых прогулок чувствовал в себе какую-то жажду наслаждения жизнью. «Другой воздух, другая жизнь в моих жилах, – писал он однажды после такой экспедиции. – Я в отечестве! Я в России! Лица русские, человеческие. Молодцы русские исподлобья, как жида, не смотрят, русские девушки нас не избегают,

<sup>6</sup> Государственный Архив. I. В., № 347. Дополнительные сведения об Одоевском имеются в нижеследующих делах этого Архива №№ 62, 113, 192, 208, 217, 222 и 229.

<sup>7</sup> Письмо к тетке 1836 г., из Иркутска. – Русский архив. 1885. I, с. 130.

<sup>8</sup> Из неизданных писем к В. Ф. Одоевскому, хранящихся в Импер. Публичной Библиотеке.

<sup>9</sup> Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 2/Х. 1823, 23/ХП. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 372, 377.

<sup>10</sup> 1821 г. 10 октября – юнкер. 1822 г. 1 мая – эстандарт-юнкер. 1823 г. 23 февраля – корнет.

<sup>11</sup> В корнеты он был произведен 23 февраля 1823 г.

как беловолосые униатки! Я почувствовал, что я человек, в тот самый миг, как мы перешли за роковой столб, отделяющий Белоруссию от нашей милой отчизны. Я отягчен полнотою жизни! Я пламенею восторгом, каким-то чувством вожделения, жаждой наслаждений». <sup>12</sup>

Жизнерадостность, которую подмечали в нем его товарищи и в тяжелые годы несчастья, была основной чертой его характера. Если вчитаться в его юношеские письма, то рядом с неизбежной и обязательной для того времени сентиментальной грустью находишь целую струю веселого, бодрого, порой юмористического настроения. Он упоен жизнью и надеждами. Он о себе и своем уме высокого мнения. Он знает цену своего отзывчивого и нежного сердца. Он боится излишних умствований, излишней серьезности во взгляде на жизнь, он хочет быть идеалистом без тревожных раздумий и страданий.

«Задача наша, – рассуждал он в те юные годы, – испытать радость жизни, но сохраняя полноту и остроту чувств:

Rien ne me révolte plus que la froideur surtout dans un jeune homme... A la vérité j'ai entendu dire souvent que pour être heureux, il faut être insensible; mais nommerai je le bonheur la privation des plaisirs de la vie?.. Un être impossible ne vit pas, il végète. La sensibilité est la fleur de notre existence, et si s'est une fleur qui se fane, au moins laisse-t-elle après elle un parfum qui embaume le dernier de nos jours et ne s'exhale qu'avec le dernier soupir. Et s'il est une autre vie, les souvenirs d'un homme sensible sont la volupté de l'éden». <sup>13</sup>

Сам Александр Иванович тогда о «кончине дней своих» и о «последнем вздохе» думал, однако, мало. Мало думал он и о так называемой «философии», которая грозит человеку испортить непосредственный и здоровый вкус к жизни.

Его двоюродный брат, тогда тоже еще мальчик, – Владимир Федорович Одоевский, с которым Александр Иванович находился в очень интимной переписке, – делал тщетные усилия направить ум своего брата на серьезные отвлеченные вопросы. Всем своим увлечениям немецкой философией, к которой В. Ф. Одоевский с детства привязался, он находил в письмах своего друга решительный отпор, и ему было, вероятно, очень неприятно читать такие строки: «Я заметил, – писал ему Александр Иванович, – что ты не только философ на словах, но и на самом деле, ибо первое правило человеческой премудрости – быть счастливым, довольствуясь малым. Ну, не мудрец ли ты, когда ты довольствуешься одними словами, а что касается до смысла, то, по доброте своего сердца, просишь у Шеллинга – едва только малую толику? Ты, право, философ на самом деле! Желаю тебе дальнейших успехов в практической любомудрии. Мой жребий теперь, мое дело быть весьма довольным новым состоянием своим и обстоятельствами. И я философ! – Я смотрю на свои эполеты, и вся охота к опровержению твоих суждений исчезла у меня. Мне, право, не до того. Верю всему, что ты пишешь; верю честному твоему слову, а сам беру шляпу с белым султаном и спешу – на Невский проспект». <sup>14</sup>

Его корреспондент мог тем более рассердиться, что за два года перед этим Александр Иванович давал ему понять, и совсем серьезно, что он в себе чувствует некоторое родство с гениями. «Я весел, – писал ему тогда Александр Иванович, – по совсем другой причине, нежели мой Жан-Жак бывал веселым. Он радовался свободе, а я – неволе. Я надел бы на себя не только кирасу, но даже – вериги, для того только, чтобы посмотреть в зеркало, какую я делаю рожу: ибо – le génie aime les entraves. Я не почитаю себя гением, в этом ты уверен, но признаюсь, что дух мой имеет что-то общее avec le génie. Я люблю побеждать себя, люблю покоряться, ибо знаю, что испытания ожидают меня в жизни сей, испытания, которые, верно,

---

<sup>12</sup> Из неизданного письма 1822, 3/VI из Великих Лук (Импер. Публичная Библиотека).

<sup>13</sup> Из неизданного письма к В. Ф. Одоевскому 1821, 24/VIII (Импер. Публичная Библиотека).

<sup>14</sup> Из переписки В. Ф. Одоевского. 1823, 2/III. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 376.

будут требовать еще большего напряжения моего духа, нежели все, что ни случилось со мною до сих пор».<sup>15</sup>

Наблюдая, однако, в продолжение некоторого времени за поведением своего двоюродного брата, В. Ф. Одоевский мог убедиться, что он ведет жизнь, совсем не подобающую «гениальной натуре». Он, кажется, и сделал ему по этому поводу довольно откровенный выговор. Писем Владимира Федоровича мы не имеем, но ответы Александра Ивановича сохранились. И он, очевидно, был также рассержен тоном этой переписки, потому что наговорил своему брату-философу много колкостей; а в письмах, кстати сказать, он умел быть и остроумным, и желчным.<sup>16</sup>

«Восклицание за восклицанием! – начинает вышучивать Александр Иванович своего брата. – Но если бы пламень горел в душе твоей, то и не пробивая совершенно твердых сводов твоего черепа, нашел бы он хотя скважину, чтоб выбросить искру. Где она? Видно ты на огне Шеллинга жарись, а не горишь...

Я скажу все, как вижу из под козырька моей каски, который, однако, не мешает всматриваться в тебя; потому что не нужно для этого (с вашим дозволением) считать на небе звезды. Ты еще пока в людской коже, как и ни лезешь из нее...

Корифей мыслит, а в смысле его – лепечут! Отличишь ли ты плевелы? Если нет, то хороша пища! Заболит желудок. Но весь философский лепет не столь опасен, как журнальный бред и круг писак-товарищей, полуавторов и цельных студентов...

Худо перенятое мудрствование отражается в твоих вечных восклицаниях и доказывает, что кафтан не по тебе. Вместо того, чтобы дышать внешними парами, не худо было бы заняться внутренним своим созерцанием и взвесить себя...

Ты желаешь душой своей разлиться по целому и, как дитя принимает горькое лекарство, так ты через силу вливаешь в себя все понятия, которые находишь в теории, полезной и прекрасной (все, что хочешь), но не заменяющей самостоятельности.

...Истинно возвышенная душа, т. е. творческая, сама себя удовлетворяющая, а потому всегда независимая, даруется свыше благословенным. Такая душа превращает и чужое в личное свое достояние, ибо архетип всего прекрасного лежит в ее глубине. Внешняя сила становится для нее одной только случайною причиною. Она везде берет свою собственность. Возвышенный ум за нею следует, но как завоеватель! Для него нужны труды высокие и поприще благородное! Иначе все, что он ни присвоит, будет казаться пристройкою лачужки к великолепному храму.

В сей высшей сфере нельзя брать в заем; и иногда почти невозможно постигать размышлением то, что постигается чувством...

Итак, учись мыслить, но не говори, что ты достиг цели, стоящей вне круга моей жизни. Ты еще ничего не достиг. Ты едва ли еще на пути, хотя ищешь его, как кажется. Откуда же взялась такая смешная самонадеянность? Ты старше летами, но я – перегнал, я старше – чем? – душою. Но где душа? Ты как будто ищешь ее вне себя, в философии Шеллинга; а я – ее не искал.

Сойди в глубину своего ума – признайся, что набросать слова звучные, нанизать несколько ниток фальшивого жемчуга и потом, сев на курульские кресла, с важностью римского сенатора, судить человека, совсем незнакомого, – весьма легко! Незнакомого? – да, незнакомого... Я не совсем оправился, но, однако, начинаю ступать с некоторой доверенностью к себе. Как-то мыслю, как-то чувствую – иду; но не считаю, как ты, шагов моих; и не мерю себя вершками! У всякого свой обряд. У меня есть что-то – пусть идеал – но без меры

---

<sup>15</sup> Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 2/Х. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 372.

<sup>16</sup> В его письмах попадаются иногда очень милые остроты: Лежачих не бьют, а особливо ослов; ты их тем заставишь только встать, чтобы снова лягаться. Береги свою желчь, ибо и ее можно употребить на что-нибудь путное в сей странной жизни.

и без счету. Шагаю себе, может быть, лечу, но сам не знаю как; и вместе с тем в некоторые мгновения наслаждаюсь истинно возвышенной жизнью, всегда независимой, и которая кипит во мне, как полная чаша Оденова меду.

Чем же ты меня так перешеголял? Внутренним бытием? Ты моего не знаешь. Печатным бытием? – я его презираю».<sup>17</sup>

Последние слова очень характерны: Александр Иванович на всю жизнь сохранил это презрение к печати, и если бы его друзья не записывали за ним его стихотворений, то все они так навсегда бы и пропали.

А писать стихи он стал очень рано. «В крылатые часы отдохновения, – как он выражался в одном неизданном стихотворении 1821 г., – он питал в себе огонь воображения и мнил себя поэтом»,<sup>18</sup> и кажется, что плоды этой мечты были очень обильны. По крайней мере, когда его брат просил у него стихов для «Мнемозины», которую он издавал, то Александр Иванович в выборе затруднен не был: «Стихи пишу и весьма много бумаги мараю, – отвечал он брату. – Люблю писать стихи, но не отдавать в печать... по дружбе к тебе, но чуждый журнального словостяжения, я бы прислал к тебе десяток од, столько же посланий, пять или шесть элегий – и начала двух поэм, которые лежат под столом, полуразодранные и полусожженные».<sup>19</sup>

\* \* \*

Хотя Александр Иванович и не любил типографского станка, но к словесности он питал страсть очень нежную, равно как и к русскому языку которым владел в совершенстве.<sup>20</sup> К этой страсти он был подготовлен и тем начальным образованием, которое получил в детстве и юношестве. Это образование было преимущественно литературное.<sup>21</sup> На вопрос судей: «В каких предметах старались вы наиболее усовершенствоваться?» – он отвечал, что в словесности и математике. «Юридическими науками, – утверждал он, – я никогда не занимался или политическими какими-либо творениями. Не только ни одного лоскутка бумаги не найдете, который мог бы служить против меня доказательством, но даже ни единой книги, относящейся до политики или новейшей философии. Я занимался словесностью, службой; жизнь моя цвела». И Одоевский говорил правду. Если в юности его прельщали какие лавры, то разве только лавры писательские; и он позволял себе иногда в частной переписке задуматься над вопросом: а нет ли в нем сходства с Торквато Тассо или со Стерном.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Из неизданного письма 1824 г. (Импер. Публич. Библиотека). Смысл этих писем не совсем соответствует словам бар. А. Розена, который говорит, что Одоевский был христианин с «философическими воззрениями Канта и Фихте». (Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 10). Одоевский был в значительной степени равнодушен к философии.

<sup>18</sup> Вот это неизданное стихотворение: оно не из сильных (Из переписки В. Ф. Одоевского. 1821, 5/X. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 373–374)... сбросив бремя светских уз, В крылатые часы отдохновенья, С беспечностью любимца муз Питаю огонь воображенья Мечтами лестными, цветами заблужденья. Мечтаю иногда, что я поэт, И лавра требую за плод забавы, И дерзостным орлом лечу, куда зовет Упрямая богиня славы: Без заблужденья – счастья нет. За мотыльком бежит дитя во след, А я душой парю за призраком волшебным, Но вдруг существенность жезлом враждебным Разрушила мечты – и я уж не поэт! Я не поэт! – и тщетные желанья Дух юный отягчили мой! Надежда робкая и грустны воспоминанья Гостями неожиданными явились предо мной.

<sup>19</sup> Из неизданного письма 1824, 19/III (Импер. Публичная Библиотека).

<sup>20</sup> Генерал Раевский, под началом которого он служил на Кавказе, продиктовал свои реляции, присылал их обыкновенно рядовому Одоевскому для просмотра и поправок. (Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. II, с. 646–647).

<sup>21</sup> «Воспитывался у моих родителей, – писал он в одном показании, – учителя мои были: российского языка и словесности д.с. с. непременный секретарь Императорской Российской Академии Соколов; французского: Геро, Шопен; немецкого: Катерфельд; английского: Дайлинг; латинского: Белюстин, а потом Диц; греческого: Попов; истории и статистики: Арсеньев (короткое время) и Диц; чистой математики: Темясен; фортификации: полевой и долговременной: Фарантов; физики: профессор Делюш; законоучители: протоиереи Каменский и Мансветов.

<sup>22</sup> В письмах к В. Ф. Одоевскому. – Русская старина. 1904. Февраль, с. 371–378.

Любовь к словесности заставляла Одоевского, конечно, искать знакомства и дружбы литераторов. Широких литературных связей у него не было, но в молодой литераторской компании он был принят как свой. Рылеева и А. Бестужева<sup>23</sup> он любил прежде всего как писателей и затем уже подпал под их влияние как политиков. Есть указание, что он был знаком с Хомяковым, с которым вступал в политические споры.<sup>24</sup> Но наиболее тесная дружба соединяла его с Грибоедовым. При каких условиях завязалась эта дружба – неизвестно, но Одоевский был постоянным спутником Грибоедова в домах знакомых и в театрах,<sup>25</sup> а в 1824 г. во время наводнения рисковал жизнью, спасая своего друга.

В начале 1825 г. они даже жили вместе на одной квартире. Знал ли Грибоедов о политических замыслах Одоевского – определить трудно; из письма, которое он писал ему в крепость, видно – что не знал,<sup>26</sup> и потому можно предположить, что их дружба была дружбой личной и завязалась, вероятно, также на почве литературных интересов.

Литературные друзья и приняли Александра Ивановича в члены тайного общества.

---

<sup>23</sup> Prince de mon âme – называл его А. Бестужев.

<sup>24</sup> Хомяков уверял Одоевского, что он (Одоевский) вовсе не либерал, а только предпочитает единодержавию тиранство вооруженного меньшинства. *Ляшковский В. А. С. Хомяков. М., 1897, с. 12.*

<sup>25</sup> Он удерживал Грибоедова от излишнего увлечения закулисными цирцеями: А. С. Грибоедов. – Русская старина. 1874. Т. X, с. 276; а также: Русский архив. 1874. I, 1537.

<sup>26</sup> Письмо писано, впрочем, при таких условиях, что принимать его всецело на веру невозможно. Каковы бы ни были, однако, эти условия, письмо могло бы быть мягче. «Брат Александр! – писал ему Грибоедов, – подкрепи тебя Бог! Я сюда прибыл на самое короткое время. Государь наградил меня щедро за мою службу. Бедный друг и брат! зачем ты так несчастлив?.. Осмелюсь ли предложить тебе утешение в нынешней судьбе твоей! Но есть оно для людей с умом и чувством. И в страдании заслуженном можно сделаться страдальцем почтенным. Есть внутренняя жизнь, нравственная и высокая, независимая от внешней. Утвердиться размышлением в правилах неизменных, сделаться в узах и в заточении лучшим, нежели в самой свободе, – вот подвиг, который тебе предлагаю... Кто завлек тебя в эту гибель? Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя уму и доброте сердца позаимствовать!» (Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. СПб., 1883, с. 187–188).

## II

«Заимствовал я сей нелепый противозаконный и на одних безмозглых мечтаниях основанный образ мыслей от сообщества Бестужева и Рылеева, не более как с год. Родители же мои дали мне воспитание, приличное дворянину русскому, устраняя от меня как либеральные, так вообще и всякие противные нравственности сочинения. Единственно Бестужев и Рылеев (а более последний) совратили меня с прямого пути. До их знакомства я гнушался сими мыслями», – так писал Александр Иванович в тюрьме в первые дни своего ареста, ошеломленный катастрофой, испуганный насмерть и под угрозой приступа настоящего душевного расстройства.

Одоевский познакомился с Бестужевым в конце 1824 г.<sup>27</sup> «Я любил, – рассказывает он, – заниматься словесными науками; это нас свело. Месяцев через пять после первого нашего свидания в приятельском разговоре мы говорили между прочим о России, рассуждали о пользе твердых неизменных законов. “Доставление со временем нашему отечеству незыблемого устава, – сказал он мне, – должно быть целью мыслящего человека. К этой цели мы стремимся; Бог знает, достигнем ли когда? Нас несколько людей просвещенных. Единомыслие нас соединяет. Иного ничего не нужно. Ты так же мыслишь, как я, стало быть, ты наш”. Вот и все. После разговора моего с Бестужевым он долго ничего не сказывал мне о чем-либо подобном. Когда приехал Рылеев, то он познакомил меня с ним. С Рылеевым я также коротко познакомился и часто рассуждал о законах, о словесности и проч. Слова его о будущем усовершенствовании рода человеческого принимал я по большей части за мечтания, но сам мечтал с ним.<sup>28</sup> В этом не запираюсь, ибо воображение иногда заносится».

Одоевский говорил чистейшую правду: он, действительно, всего больше «заносился мечтой», – чем, кажется, и заслужил неудовольствие своих товарищей. «Рылеев и Бестужев, – признавался он, – которые, право, только безумные, извините за выражение, а люди добрые, добрые, говорили мне: “Что ты не работаешь?”, хотя и не давали мне права принятия. Они мне немного надоели (особенно Рылеев), и я их обманывал. Говорил им: “я работаю”, а между тем, почти ничего не делал».

«Делал» он очень мало, чтобы не сказать ничего. Из достоверно установленных фактов видно, что он принял в члены общества корнета лейб-гвардии конного полка Рынкевича (в июле 1825), что 14 декабря утром после присяги он приехал к Сутгофу и упрекал его в том, что он изменил своему слову и не идет на площадь;<sup>29</sup> что с поручиком Ливеном заводил несколько раз либеральный разговор в неясных и неопределенных словах; что он принял Плещеева, которому говорил, что цель общества была просить Его Императорское Величество дать конституцию, не объясняя ему (Плещееву), каким образом; наконец, Рылеев полагал, что Одоевский принял в общество Грибоедова.<sup>30</sup> Одоевскому ставили в вину также, что он высказывал радость по поводу того, что наступило время действовать,<sup>31</sup> обвиняли его также в том, что на одном из собраний у Рылеева он восторженно говорил: «Мы умрем! ах! как славно мы умрем!».<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Бестужев одно время жил в квартире Одоевского, и к нему же на квартиру скоро приехал Кюхельбекер; это подало повод Каховскому сказать на допросе, что иногда для совещаний заговорщики собирались у Одоевского.

<sup>28</sup> «Одоевский по пылкости своей сошелся более с Рылеевым и очень ревностно взялся за дело», – показывал А. Бестужев.

<sup>29</sup> В своих показаниях Одоевский отрицал этот факт.

<sup>30</sup> Чего не было.

<sup>31</sup> Одоевский отвергал это показание Бестужева.

<sup>32</sup> Одоевский в произнесении этих слов также сначала не сознался, и утверждал, вопреки истине, что он *никогда* не бывал на совещаниях общества; затем он признал, что слова действительно произносил, но настаивал на том, что на совещаниях никогда не был.

По этим отрывочным данным нельзя, конечно, составить себе никакого представления о политических взглядах Одоевского. Да и были ли они у него? Если верить ему, то к политической мысли он был совсем не подготовлен; он мог быть политически *настроен*, и в такое настроение, по всем вероятностям, и выливалось все его политиканство. Из показаний на суде видно, например, что он даже плохо знал устав общества, потому что думал, что существует конституция, написанная Рылеевым и Оболенским. Сам он ни устно, ни письменно по политическим вопросам не высказывался. Известно только, что он вместе с Бестужевым и Рылеевым останавливал Якубовича от царубийства; Рынкевич, кроме того, показывал, что Одоевский в разговорах был умерен и говорил, что Россия не в таком положении, чтобы иметь конституцию. В своих собственных показаниях Одоевский неоднократно говорил, что все это дело считал шалостью и ребячеством. «Оно в самом деле иначе не могло казаться, ибо 30 или 40 человек, по большей части ребят и пять или шесть мечтателей не могут произвести перемены; это очевидно».<sup>33</sup> Так мог Одоевский думать в тюрьме, но перед катастрофой думал, вероятно, несколько иначе. Признать себя перед судом открыто членом общества он не хотел; утверждал, вопреки очевидности, что никого не принимал в члены, так как самого себя никогда не почитал таковым; говорил, что решительно не может назвать себя членом, так как не действовал и считал существование самого общества испарением разгоряченного мозга Рылеева; отрицал, что он *принят* в общество, а признавал только, что он *увлечен*, так как на слова Бестужева: «Ты наш?» он не отвечал ни да, ни нет, потому что почитал общество ребячеством и одним мечтанием; наконец, говорил, что хвастался из движения самолюбия (не христианского и не рассудительного), желая показать, что имеет некоторый вес в этом обществе – одним словом, Одоевский путался в показаниях, желая задним числом оттенить ту мысль, которая ему пришла в голову в тюрьме и на которой он надеялся построить свою защиту.

Хотел он также убедить судей в том, что и главная цель общества была ему неизвестна. Это ему, однако, не удалось, так как товарищи единогласно показали, что о конституции он говорил неоднократно. Так, например, вместе с Рынкевичем он желал представительного правления,<sup>34</sup> но не надеялся дожить до него; графа Ливена наводил он на мысли о том же словами: «Поговаривают о конституции»; Плещееву 2-му он сообщил, что общество хочет просить царя о конституции; князю Голицыну он говорил, что есть общество, желающее распространить либеральные мысли, дабы искоренить деспотизм и переменить правительство, и говорил он это, по словам Голицына, «свойственным ему языком неосновательности рассуждений». Наконец, Никита Муравьев утверждал, что перед отъездом своим из Петербурга, осенью 1825 г., он дал Одоевскому копию со своей конституции.<sup>35</sup>

Против таких улик бороться было трудно и Одоевский в конце концов согласился, что он был принят в общество, стремящееся к достижению конституции, но что все-таки это общество почитал шалостью и ребячеством.

Из всего этого ясно, что конечная цель пропаганды была известна Одоевскому, но в какой форме он рисовал себе конституцию – это неизвестно, и легко может быть, что он прошел совсем мимо этого вопроса.

<sup>33</sup> «Все же принятие в чем состоит? “Наш ли ты?” – Ваш! – шалость, конечно, противозаконная, преступная, сделалась по милости Рылеева ужасною».

<sup>34</sup> Цель общества, как Одоевский говорил Рынкевичу, было достижение представительного правления посредством распространения просвещения (?).

<sup>35</sup> Несмотря на очную ставку, Одоевский показывал, что не получал этой копии и не читал конституции.

### III

В конце 1825 года Одоевский взял отпуск и уехал во Владимирскую губернию, в деревню к отцу, с которым давно не видался. Между членами общества было условлено, что в случае какого-нибудь важного происшествия каждый из них, где бы он ни был, явится в Петербург. Узнав в Москве о смерти Императора Александра Павловича, Одоевский 8 декабря 1825 г. вернулся в столицу.<sup>36</sup> Для членов тайного общества наступили суетливые и тревожные дни.

11-го декабря Одоевский говорил Рынкевичу: «Я чувствую что-то, что скоро умру, что-то страшное такое меня, кажется, ожидает».

На заседании 13 декабря у Рылеева Одоевского не было, так как утром того числа он вступил в караул в Зимнем дворце, откуда мог смениться только утром 14 декабря. Но 12-го числа вечером, после собрания у Рылеева, он еще побывал у князя Оболенского, куда собрались офицеры разных полков за последними инструкциями касательно будущих действий.<sup>37</sup>

14 декабря утром Одоевский стоял еще во внутреннем карауле. Уже после, когда открылось его участие, вспомнили, что он беспрестанно обращался к придворным служителям с расспросами обо всем происходившем – обстоятельство, которое в то время приписывали одному любопытству.<sup>38</sup>

Присягнув новому Императору, Одоевский пошел к Рылееву, который «сказал ему дожидаться на площади доколе придут войска». «Я пришел на площадь, – показывает Одоевский, – не найдя на ней никого, пошел домой и у ворот встретил Рынкевича, у коего взял сани, поехал через Исаакиевский мост в Финляндский полк, дабы узнать, приняли ли присягу. Здесь встретил я квартирмейстерского офицера, которого видал у Рылеева и который известил меня, что Гренадерский полк не подымается и звал меня ехать к оному. Прибыв туда, нашел некоторых офицеров на галерее, от коих узнал, что полк присягнул, но что Кожевников арестован, о чем мы соболезновали. Приехав назад на Исаакиевскую площадь, нашел уже толпу Московского полка и некоторых из моих друзей, к коим я пристал. С ними кричал я: Ура! Константин!».<sup>39</sup>

Как только Одоевский прибыл на площадь, ему сейчас дали в команду взвод для пикета, во главе которого он и стал с пистолетом в руках.<sup>40</sup> Поставил его на этот пост кн. Оболенский, но Одоевский недолго оставался во главе пикета и возвратился в каре. Ни одного командного слова он не произносил.

На площадь Одоевский пришел в большом возбуждении и все время находился, как он сам говорил, в полусознании. «Я простоял, – писал он царю, – 24 часа во внутреннем карауле, не смыкал глаз, утомился: кровь бросилась в голову, как со мной часто случается; услышал: “ура!” – крики толпы и в совершенном беспамятстве присоединился к ней».

«Я... весь ослабел, здоровья же я вообще слабого, потому что от лошадей грудь разбита и голова; кровь беспрестанно кидалась в голову; я весь был в изнеможении... Двадцать раз хотел уйти; то тот, то другой заговорят;<sup>41</sup> конногвардия окружила; тут я совсем потерялся, не знал

<sup>36</sup> «14 декабря» И. Пущина – Всемирный вестник. 1903. VI–VII, с. 229. Ср. *Завалишин Д.* Записки декабриста. Мюнхен, 1904. I, с. 309.

<sup>37</sup> Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862, с. 14–15.

<sup>38</sup> *Корф М.* Восшествие на престол императора Николая I. СПб., 1857, с. 116.

<sup>39</sup> Ср. «14 декабря» И. Пущина – Всемирный вестник. 1903. VI–VII, с. 235–237.

<sup>40</sup> У Одоевского при себе было 2 пистолета; один он уступил В. Кюхельбекеру. Одоевский должен был признать этот факт, хотя сначала отрицал его. Есть указание, что в пистолет, который он дал Кюхельбекеру, он насыпал песку, зная шальной нрав своего товарища.

<sup>41</sup> Другое показание: «Я двадцать раз хотел уйти, но тут меня обнимали, целовали, и чтобы не показаться трусом, я остался, из дружбы также, сам не знаю отчего».

куда деться; снял султан: у меня его взяли, надевали мою шубу.<sup>42</sup> Щепин вывел меня напоказ конной гвардии: “Ведь это ваш?” В другой раз я вышел и удержал московских солдат от залпа и спас, может быть, жизнь многих».

«На площади, – показывал В. Кюхельбекер,<sup>43</sup> – я с Одоевским снова увиделся. Находился он неотлучно при московцах; удалял чернь из боязни напрасного кровопролития (когда она приближалась к рядам), не только не поощрял, но унимал солдат, стрелявших без спросу; а при ожидаемом на нас нападении конницы, увещевал их метить не в людей, а лошадям в морды; караульному же офицеру, который грозился велеть выстрелить в нас обоих, подошедших слишком близко к сенатской гауптвахте, он отвечал: “Monsieur! on ne meurt qu’une fois”. Наконец, увидел я Одоевского, теснимого толпою мимо его бегущих солдат гвардейского экипажа, и заметил, как он снимал султан со своей шляпы».

Суматоха на площади, как видим, царила большая, и среди этой суматохи роль Одоевского была ничтожна. Собственно, никакой вины за ним, кроме самого присутствия на площади, и не числилось. Были даже заслуги. «В самом деле, – писал он царю, – в чем моя вина? Ни одной капли крови, никакого злого замысла нет на душе у меня. Я кричал, как и прочие; кричал “ура!”, но состояние беспамятства может послужить мне оправданием. Если бы у меня малейший был бы замысел, то я не присоединился бы один, а остался бы в своем полку».<sup>44</sup>

На площади у Одоевского, действительно, начинался тот длинный пароксизм беспамятства, который разрешился острым душевным кризисом в тюрьме.

«В колонне остался я, – пишет Одоевский, – доколе она была расстроена и разогнана картечью. Тогда пошел я Галерной и чрез переулок на Неву, перешел через лед на Васильевский остров к Чебышеву.<sup>45</sup> Оттуда возвратился в город и заехал к Жандру,<sup>46</sup> живущему на Мойке. Здесь дал мне сей последний фрак, всю одежду и 700 руб. денег. Я пошел в Екатерингоф, где купил тулуп и шапку, и прошел к Красному Селу. Наконец, вчерась возвратился в Петербург, где прибыл к дяде Д. С. Ланскому, который отвел меня к Шульгину (полицеймейстеру)».

О том, как Одоевский вернулся в дом своего дяди Ланского, существует несколько рассказов, с истиной едва ли вполне согласных.

Рассказывали, что он пешком пошел по Парголовошскому шоссе; но у дачи дяди его Мордвинова (?) люди узнали его, а Мордвинов вернул его в Петербург и представил куда следует.<sup>47</sup>

<sup>42</sup> Шинель Одоевского, действительно, кто-то с него снял и затем в ней парадировал.

<sup>43</sup> *Гастфрейд Н.* Кюхельбекер и Пущин в день 14 декабря 1825. СПб., 1901, с. 10, 14, 18.

<sup>44</sup> Свою растерянность и отсутствие всякого замысла Одоевский пояснял в показаниях умышленной и, вероятно, ложной бравадой. «Сменившись с дворцового караула, – писал он, – и присягнув, я возвратился домой, разделся и надел спортуку, сначала я поехал в конфектную лавку, а потом зашел к Рылееву для того, чтобы посмеяться над его мечтаниями, ибо все было тихо, и я полагал, что уже все предположения его, все его надежды рушились. Он отвечал мне: “Иди на Исаакиевскую площадь, посмотри еще: может быть, что и будет”. Я повторяю, что в полки я поехал единственно из любопытства. Это должно быть согласно не только со всеми прочими показаниями, но оно явствует из самого дела. Если были какие-либо на кого возложены обязанности, то конечно не на меня, ибо они не могли на меня ни надеяться, ни полагаться».

<sup>45</sup> «Чебышев – человек достаточный, – пишет Одоевский в другом показании, – добрый, с которым я уже знаком года два; что я зашел к нему, то это по весьма естественному случаю. Когда начали толпу разгонять, я пошел по Галерной улице и поворотил в переулок. Потом зная, что все окружено войсками, некуда было мне идти более, как через Неву. Я перешел ее, увидел, что отряд Конной Гвардии идет по Васильевской набережной. Чтобы не встретиться с ним, пошел я налево вдоль домов по тротуару; Конная Гвардия была уже очень близка. Я очутился близко дома Чебышева и зашел к нему. Сперва стоял я в сенях и думал: идти ли мне или нет? Наконец решился. Сперва я увидел одних его племянниц, которые были в большом страхе и расспрашивали меня. Я сел и почти ничего не отвечал. Потом вошел и сам Чебышев. “Ты откуда?” Я скрепился духом, отвел его в другую комнату и сказал ему, что я замешан в этом безумном и преступном возмущении. Я употребил слово тогда “шалости”, но теперь не смею и повторить такое непристойное слово, когда дело идет о злодеяниях. “Тебе делать нечего иного, как идти отдать шпагу и просить прощения у Государя”. Я худо, очень худо сделал, что тотчас же не последовал совету этого доброго человека, но я был почти без памяти».

<sup>46</sup> Писатель А. А. Жандр, «родственницу которого Одоевский спас, вытаща ее из воды». Рассказывали, что Жандр не выдал Одоевского явившимся к нему в дом сыщикам. (Русская старина. 1874. Т. X, с. 157).

<sup>47</sup> *Данилов И.* Забытая писательница. – Исторический вестник. 1900. Июль, с. 198. Мордвинов здесь, очевидно, спутан

Один современник утверждал, что гусары, казаки и драгуны делали ночью обход, чтобы ловить преступников, и Одоевский, спасаясь от них, провел ночь под дугой какого-то моста, но затем, окоченев от холода, спасся к Ланскому.<sup>48</sup>

Другой современник рассказывает, что 14 декабря вечером Одоевский исчез. На следующий день около взморья один унтер-офицер наткнулся на прорубь, которая начала уже замерзать, и увидел, что около проруби лежат шпага, пистолет, военная шинель и фуражка Конногвардейского полка. Шинель вырубил из льда и начал поиски тела. Вещи были доставлены на квартиру Одоевского, которого искали. Прислуга признала их, и решили, что Одоевский утонул; а он через несколько дней, в простом полушубке, как мужик, пришел к Ланскому. Ланской обещал будто бы его спрятать, отвел его в дальнюю комнату, запер в ней, а сам поскакал с докладом во дворец.<sup>49</sup> Рассказывали, наконец, что Ланской не дал Одоевскому ни отдохнуть, ни перекусить, а прямо повез его во дворец.<sup>50</sup>

17 декабря в 2 ч. дня Одоевский и Пущин были доставлены в Петропавловскую крепость с запиской от императора, в которой он писал: «Присылаемых при сем Пущина и Одоевского посадить в Алексеевский рavelин».

---

с Ланским.

<sup>48</sup> *Schnitzler*. Histoire intime de la Russie. I, 248.

<sup>49</sup> Декабристы в рассказе помощника квартального. Берлин, 1903, с. 20–26. Рассказ этот перепечатан под заглавием «Из воспоминаний петербургского старожила» в «Историческом вестнике», 1904. Январь.

<sup>50</sup> Записки князя Трубецкого. Лейпциг, 1874, с. 22.

## IV

В рavelине Одоевский сидел рядом с Н. Бестужевым. «Одоевский, – рассказывает М. А. Бестужев, – был молодой пылкий человек и поэт в душе. Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как утомить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал, как запертый львенок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у стражей волосы подымались дыбом; что ему ни говорили, как ни страшили – все напрасно. Он продолжал свое, и кончилось тем, что его оставили. Этот-то пыл физической деятельности и был причиной, что даже терпение брата Николая разбилось при попытках передать ему нашу азбуку. Едва брат начинал стучать ему азбуку, он тотчас отвечал таким неистовым набатом, колотя руками и ногами в стену, что брат в страхе отскакивал, чтоб не обнаружить нашего намерения».<sup>51</sup>

Такое поведение Одоевского в тюрьме неоднократно обращало на себя внимание его биографов, и все приписывали эти странности его пылкому темпераменту. Теперь, когда показания его перед нами, поведение его объясняется иначе: он был психически болен, расстроен до потери сознания. На него напал панический страх, и ужас его положения притупил в нем все другие чувства, лишая его иногда даже связной речи. И понятно, что такое расстройство могло овладеть его духом. Слишком был он не подготовлен к испытанию, слишком не увлечен своим делом, чтобы не пасть духом. Слишком был он молод, богат, красив, умен, талантлив, полон надежд, чтобы не ужаснуться грядущему. А это грядущее рисовалось ему как нечто невообразимо страшное и беспросветное. Он словно угадывал свою судьбу и отбивался от ее призрака.

И много лишних заклинаний произнес он, отбиваясь от него.

Первый допрос в присутствии самого царя оставил слабый след в его расстроенной памяти. «При первом допросе, – пишет он, – пройдя через ряд комнат дворца, совершенно обруганный, я был весьма естественно в совершенном замешательстве, какого еще отродясь не испытывал». Одоевский просил поэтому не засчитывать ему в обвинение те показания, которые на первом допросе записаны рукой генерала Левашова.

Ему вскоре была предоставлена возможность самому письменно отвечать на вопросы.

Сначала он отвечает витиевато и красноречиво, не теряя самообладания.

«Смею испросить, – пишет он, – у Высочайше учрежденного комитета несколько минут терпеливого внимания, хотя бы оный и нашел в моих ответах подробное повторение показаний, уже мною učinенных на духу».<sup>52</sup> Я был совершенно чист в продолжение 23 лет: я говорю это без самолюбия, ибо едва ли какое-либо самолюбивое побуждение мне дозволяется в теперешнем моем состоянии. Я потому говорю о моем прежнем поведении, что в таком деле, где одна минута безумия всю участь мою решила, все приемлется в уважение – и мои чувства, и образ моих мыслей, и прежнее мое поведение. Я строго исполнял свои обязанности и был совершенно непорочен до 14 декабря. Это самое покорнейше прошу поставить на вид Государю Императору, ибо как его правосудию, так равно и его человеколюбию необходимо все знать и взвесить на весах своих и жизнь, и честь мою. Кто знает? Неисповедима воля Господня и, может быть, неисчерпаемы и кротость, и милосердие Государя. Еще я не погиб, но ежели мне суждено погибнуть, да исполнится воля Царя. Если же единым своим животворящим словом воскресит он меня, то я уверен в себе, что моею беспредельной благодарностью и искренним раскаянием, и целою жизнью изглажу я свою вину. Раскаяние – все перед Богом. Я уверен,

---

<sup>51</sup> Записки М. Бестужева. – Русская старина. 1870. I, с. 274 (II издание).

<sup>52</sup> Очень характерно, что такие показания он предполагал известными. Когда его потом спрашивали, кто убийца Милорадовича, то он высказал свои подозрения и готов был также повторить их на духу.

что оно – много перед Государем. Да простят мне мое отступление. В последние минуты моей жизни (!) утешительно и необходимо было мне изложить мои чувства перед людьми почтенными, которых мнением истинно должен дорожить и которых, быть может, одних остается мне видеть на земле».<sup>53</sup> Как видим, тон речи Одоевского, хоть и очень смиренный, но в общем спокойный. «Последние минуты жизни» представляются ему пока еще не столько реальностью, сколько хорошим поэтическим оборотом. Одоевский, кроме того, озабочен, как бы его первые показания, записанные не его рукой, ему не повредили. Он принимает меры предосторожности и заявляет прямо, в письме к царю от 21 декабря, что тогда, когда он давал эти показания, он «по трехдневном голоде и бессоннице был в совершенном расстройстве и душевных, и телесных сил». «Несвойственно было бы твоему правосудию, Государь, – пишет он, – принять за доказательства против меня слова человека, ума лишенного. Так, к сожалению, должен я признаться, что с самого времени смутных обстоятельств, я чувствую беспорядок в моих мыслях: иначе не умею истолковать всех моих действий. Я скрылся, не знаю зачем, ходил Бог знает где и, наконец, сам, по собственному побуждению, возвратился в город и явился к Тебе, Государь. Теперь начинаю я опаматоваться и не могу доверять себе: я ли это? Я был в горячке. Внутреннего сознания в благородстве моих чувств я не утратил и никогда не утрачу; но внешнее посрамление, которым ты уже наказал меня, Государь, сильно врезалось мне в сердце. Я хотел скрыться под землю, под лед,<sup>54</sup> чтобы избавиться от стыда и поношения и, не доезжая крепости, бросился с моста (??).<sup>55</sup> Люди из любопытства всматривались в меня, как вороны заглядывают в глаза умирающего, будущей их добычи (!?)... При вступлении Твоем на престол само Провидение даровало Тебе способ оказать себя благодетелем перед всем миром и одним всемогущим словом привязать к себе сердца тысячи тысяч людей, и таковой первый опыт Твоей благодети увенчает тебя вечным сиянием. Прости заблужденных, а меня единого казни, если найдешь сие необходимым, но не лишай меня доброго имени. Я готов Твои колена не слезами, а кровью своею облить: внемли моему молению. Я и теперь еще чувствую расстройство в себе: оно было всему причиною...»

Уже в этом письме заметна тревога и некоторая растерянность мысли. Через месяц Одоевский пишет второе письмо царю: страх за свою участь начинает в нем проступать совсем ясно, разброд мыслей увеличивается и тон становится неприятен.

«Чем более думаешь об этих злодеяниях, – пишет Одоевский, – тем более желаешь, чтобы корень зла был совершенно исторгнут из России. Но Вы, Всемиловитейший Государь, при начале Вашего царствования сие и совершите. Желание же каждого подданного, который имеет совесть, споспешествовать по возможности сему священному делу: это долг его ради утверждения государства и для спасения честных людей, ибо когда корень зла пустил ветви, то нетрудно запутаться в них и самому честному». Одоевский доносит затем царю, «Ему Единному», о существовании второго, Южного общества, в сравнении с которым Северное общество – шалость. Он называет царю Пестеля как главу общества и полагает, что «ангельская кротость царя будет спасительна для них, а мудрость и твердость положат преграды их намерениям и разлитию яда». Наговорив много льстивых слов по адресу августейшей семьи, Одоевский продолжает: «Как начнешь размышлять, – говорит он, – где Государи кротче? Как не быть приверженным всею душою и благодарным всею душою Всеавгустейшей фамилии? Все благословляют Вас и все довольны, а если есть неудовольствия, то рассеиваются они обществами. Чего они хотят? Железной розги. Но эти проклятые игрушки нашего века будут, слава Богу, наконец, растоптаны Вашими стопами. Если я сам, хотя слепое, безумное орудие и безвредное, а не участник их, должен погибнуть, то все, все радуясь всем сердцем для других; и для того

<sup>53</sup> После этих слов вступления начинаются сами показания, с которыми мы уже знакомы.

<sup>54</sup> Ср. рассказ о проруби.

<sup>55</sup> Неподтвержденный факт. Слова, вероятно, продиктованы расстроенным воображением.

я и осмелился донести Вам, Государь, о том обществе. Зародыш зла всего опаснее, от него молодые благородные душою люди, которые могли бы быть самыми усерднейшими слугами своего Государя и украшением своих семейств и жить всегда и в счастии, и в чести – лишаются всего, что есть священного и любезного на свете, и яд этих обществ тем опаснее, что разливается нечувствительно...»

«Также приятно мне и в моем несчастье, всемилостивший государь, подумать, что, не причинив в продолжение моей жизни никому вреда, кроме себя, я мог услужить, принести хотя малую пользу моему кроткому и милосердному императору и нашему порфириноному ангелу, будущему Александру Второму. О, если бы мое спасение было первым его благодеянием! Его черты столь кротки, что если бы он узнал о моей мольбе к нему, он умилился бы Вас; и с какою любовью, с какою приверженностью благословлял бы я Его во всю жизнь, называя моим ангелом-избавителем. Вы всего меня знаете. Я все сказал...» И Одоевский вновь излагает всю историю своего завлечения и кончает письмо такими новыми подробностями из последнего дня своей жизни на свободе: «Потом хотел броситься Вам в ноги. Пришел я к Жан-дру: старуха одна, которая меня очень любит, его родственница, завывала “спасайтесь!” Кинула мне деньги. Я пуше потерял голову. Пошел куда глаза глядят. На канаве, переходя ее, попал в прорубь; два раза едва не утонул (!), стал замерзать (!!), смерть уже чувствовал, наконец, высвободился, но совсем ума лишенный; через сутки опамятовался; явился к Вам. О Государь! Какие мучения! Те, которые готовит Ваше милосердное правосудие, едва ли жесточе! Но если бы Вы спасли меня! О Государь Всемилоостивейший! Боже!»

Письмо, как видим, становится настоящим воплем отчаяния, и страх диктует все эти речи, столь мало соответствующие общему складу души несчастного юноши.

Спустя две недели после этого письма к Государю Одоевский пишет совершенно полумное послание Г. А. [гр. А. И. – *Ред.*] Татищеву. «Благодать Господа Бога сошла на меня, – говорит он, – дух бодр, ум свеж, душа спокойна, сердце так же, как и прежде, чисто и молодо, а все от совершенно чистого раскаяния и благодати Божией... Допустите меня сегодня в комитет, Ваше Превосходительство! Дело закипит. Душа моя молода, доверчива: как не быть ей таковою? Она порывается к Вам. Я жду с нетерпением минуты явиться перед Вас. Я надумался; все в уме собрал. Вы найдете корень. Дело закипит. Я уже имел честь донести Вашему Высокопревосходительству, что я наведу на корень: это мне приятно. Но прежде я колебался от слабоумия, а теперь – с убеждением... Дозвольте придти мне пораньше, ибо дела будет много. Я постараюсь всеми силами. Вы увидите. Жаль, что давно сего не исполнил, но Вы изволите знать, что я был слаб, был в уме расстроен. Теперь же в полном разуме и все придумал. Являюсь с радостью и убеждением в добром деле».

Через четыре дня он пишет тому же лицу: «Если когда будет свободная минута, то прикажите опять мне явиться. Я донесу систематически: 1) об известных мне выбывших членах; 2) о тех, коих подозреваю в большом их круге; 3) о принадлежащих ко 2 армии; 4) разберу по полкам; ни одного не утаю из мне известных, даже таких назову, которых ни Рылеев, ни Бестужев не могут знать...»

Одоевский, когда писал эти строки, забыл, что во всех своих показаниях он упорно утверждал, что к обществу не принадлежит и дел общества не знает. Впрочем, он все забыл и только дрожал от страха... Действительно, лишь паническим страхом можно объяснить в том же письме к Татищеву такие, например, строки, почти лишённые смысла: «Одно меня только очень мучает все эти дни: не погубил ли я священника? Он, право, не виноват в том, что я узнал о Кюхельбекере (т. е. что он пойман), я виноват: я стал первый говорить, что зачем Кюхельбекер убежал, что он всех невиннее, ибо он принадлежал обществу дней с восемь, что его же схватят, что в России не уйдешь, а священник кивнул головою. Я и заключил, что он (Кюхельбекер) здесь. Спасите священника. Эта мысль меня очень мучает, что я погубил его.

Боже, Боже мой! Какой я несчастный! Спасите, сделайте милость, спасите его. Он, кажется, человек почтенный...»

Характерны в этом письме и последние строки, которые ясно показывают, что Одоевский совсем не сознавал того, что он говорил и делал. «Что касается до моего показания о членах, – пишет он, – то у меня, знаете ли, Ваше Высокопревосходительство, какое было еще опасение, кроме страха запутать и погубить новые лица? – опасение прослыть в тайнике души Вашей и всех гг. членов за доносчика. Вы бы, как судьи, воспользовались моими объявлениями, но могли бы подумать: “Как неблагороден этот молодой человек. Для своего спасения губит людей”. Но теперь мне кажется, что Вы проникли до глубины моей души, что нет иной побудительной причины моих показаний, как совершенно чистое раскаяние, как убеждение в добром деле... наконец, еще причина моих показаний: желание, самое пламенное желание отвратить незаслуженное подозрение Правительства от невинных лиц и от всей России, ибо я подозреваю, что главные лица оставляют Вас в неизвестности, дабы подозрение летало над невинными головами, а ничего нет ужаснее для сердца, как подозрение кроткого правительства. Вот мои чувства... Русский человек – все русский человек: мужик ли, дворянин ли, несмотря на разность воспитания, все то же. Пока древние наши нравы, всасываемые с молоком (особенно при почтенных родителях), пока вера во Христа и верность Государю его одушевляют, то он храбр, как шпага, тверд, как кремь; он опирается о плечи 50 миллионов людей; единомыслие 50 миллионов его поддерживает, но если он сбился с законной колеи, то у него душа как тряпка. Я это испытал. Я с природы не робок. Военного времени не было, то лишнего нечего говорить; но мне и другим казалось, что я в душе солдат; был всегда отважным мальчиком: грудь, голова, ноги, – все избито (?). Но теперь, Боже мой! Я не узнаю себя или, лучше сказать, узнаю, ибо в теперешнем моем состоянии точно так должно чувствовать, как я чувствую. У меня, глядя на почтенных людей, душа замирает. Мне все кажется не Государь ли Император из-за Вас на меня смотрит? Ибо он Вам поручил свою волю. Все боюсь я, нет ли на лицах Ваших презрения ко мне?<sup>56</sup> Но теперь я покойнее. Вы в самом деле проникли до глубины души моей. Слава, слава Господу Богу, Иисусу Христу, моему Спасителю, ибо Он спасает меня в Ваших сердцах».

Неизвестно, как судьи отнеслись к этому бреду, но тот факт, что после всех этих писем и, очевидно, после тайных допросов, они вновь стали присылать Одоевскому дополнительные вопросные пункты, и притом самые конкретные, показывает нам, что насчет психического состояния подсудимого они не заблуждались. И мы теперь, читая эти показания, не должны из них делать вывода, слишком невыгодного для Одоевского. Он был нервно или, вернее, душевно болен; он был измучен до последней крайности, сбит совершенно с толку; он отличался кроме того доверчивостью и думал о людях лучше, чем они того заслуживали; наконец, он сознавал себя несчастным в полном смысле слова, так как дело, за которое он погибал, было не его делом, и он до известной степени правильно говорил, что был *увлечен* в это общество, а не принят в него. Он почти ничего не знал, а отвечать приходилось, словно бы все творилось с его ведома.

Все это, конечно, не снимает с него вины за тон его речей, но эта настоящая вина бледнеет перед той карой, какую он понес за вину совсем ничтожную. Иным словом и нельзя назвать те обвинительные пункты, которые против него были установлены комиссией о разрядах. В ее донесении сказано: «Корнет Гвардии конного полка князь Александр Одоевский, 25 лет. По собственному признанию: По второму пункту (бунт): участвовал в умысле распространения

---

<sup>56</sup> «И как увижу, – пишет он в другом показании, – Вашу снисходительность, то весь от чувств расстроюсь и половину забуду».

тайного общества принятием одного члена. По мятежу: лично действовал в мятеже без возбуждения других, но с пистолетом в руках».<sup>57</sup>

13 июля 1826 года над головой Александра Ивановича сломали его шпагу, сняли с него мундир и сожгли его, надели на него лазаретный халат и отвели опять в крепость.

Окончание дела вернуло Одоевскому спокойствие духа. «Против нас, – рассказывает Басаргин,<sup>58</sup> – сидел князь Одоевский, очень молодой и пылкий юноша-поэт. Он, будучи веселого, простосердечного характера, оживлял нашу беседу (в каземате, после окончания дела), и нередко мы проговаривали по целым ночам».

1-го февраля 1827 года Одоевского, Нарышкина и двух Беляевых увезли в Сибирь. «Комендант Сукин, – рассказывает А. Беляев, – заявил нам, что имеет высочайшее повеление, заковав нас в цепи, отправить по назначению. При этом он дал знак, по которому появились сторожа с оковами; нас посадили, заковали ноги и дали веревочку в руки для их поддержания. Оковы были не очень тяжелы, но оказались не совсем удобными для движения. С грохотом мы двинулись за фельдъегерем, которому нас передали. У крыльца стояло несколько троек. Нас посадили по одному в каждые сани с жандармом, которых было четверо, столько же, сколько и нас, и лошади тихо и таинственно тронулись. Городом мы проехали мимо дома Кочубея, великолепно освещенного, где стояли жандармы и пропасть карет. Взглянув на этот бал, Одоевский написал потом свою думу, озаглавленную “Бал мертвецов”».<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Донесение комиссии о разрядах, с. 35.

<sup>58</sup> Басаргин Н. Записки. С. 56.

<sup>59</sup> Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 204.

## V

По разряду наказаний Одоевский попал в четвертую группу и был приговорен к 15-летней каторге. Конфирмацией Императора этот срок был сокращен до 12-ти лет.

В Нерчинские рудники Одоевский поступил 20 марта 1827 года.

О жизни декабристов в Сибири сохранилось много рассказов.<sup>60</sup>

Вначале положение их было очень тяжелое. «Власть делала много стеснений, производила обыски, относилась к заключенным с большой подозрительностью и придиричиво. Действия власти имели вид иногда чисто одного недоброжелательства и личной неприязни, так как они не оправдывались уже никакими, даже и ошибочными, политическими опасениями».<sup>61</sup>

Каторжная работа была, впрочем, не так страшна.

«Нас поместили, – рассказывает А. Беляев, – в одну из боковых, довольно большую комнату, где были сделаны нары для ночлега и сиденья. В углу между печью и окном могли поместиться трое, и эти трое были: Н. И. Лорер, Нарышкин и М. А. Фон-Визин. На больших же нарах вдоль стен помещались мы с братом, Одоевский, Шишков и еще кто – не помню. (В углу стояла знакомая парашка). На ночь нас запирали. Выходить за двери мы могли не иначе, как с конвоем; выходить не куда-нибудь из тюрьмы, а в самой тюрьме. Гулять дозволялось по двору обставленному высоким частоколом. Весной нам дозволили заняться устройством на дворе маленького сада. Эти работы мы делали в свободное от казенных работ время и в праздники. Казенные же работы производились при постройке большого каземата, где должно было поместиться потом все общество и куда нас к зиме и перевели. Мы копали канавы для фундамента, а так как земля еще была мерзлая, то прорубали лед кирками. Но каземат этот не мог поспеть ранее зимы. Летом работали плотники, а нас водили на конец этого маленького селения зарывать овраг. Около этого оврага росло несколько роскошных бальзамических тополей, под тенью которых мы отдыхали. Тут обыкновенно читали, беседовали, играли в шахматы и, возвращаясь домой к обеду, обыкновенно пели, и по большей части: *Allons, enfants de la patrie*, так как эта песня, действительно, подходила к нам, разумеется, только этими начальными словами, хотя остальными вовсе не подходила уже к мирному настроению большей части товарищей».<sup>62</sup>

В этом же духе рассказывает и Д. Завалишин про их работу.

«Вот выходят, – пишет он, – и кто берет лопату для забавы, а кто нет. Неразобранные лопаты несут сторожа или везут на казематском быке. Офицер идет впереди, с боков и сзади идут солдаты с ружьями. Кто-нибудь из нас запевае песню, под такт которой слышится мерное бряцание цепей. Очень часто пели итальянскую арию «*Un pescator del onda fdelin*»... Но чаще всего раздавалась революционная песня: «Отечество наше страдает под игом твоим». И вот и офицеры, и солдаты спокойно слушают ее и шагают под такт ей, как будто так и следует быть. Место работы превращается в клуб; кто читает газеты; кто играет в шахматы; там и сям кто-нибудь для забавы насыпает тачку и с хохотом опрокинет землю с тачкой в овраг, туда же летят и носилки вместе с землей; и вот присутствующие при работе зрители, чующие поживу, большей частью мальчишки, а иногда и кто-нибудь из караульных, отправляются доставать изо рва за пятак тачку или носилки. Солдаты поставят ружья в козлы, кроме двух-трех человек, и лягут спать; офицер или надзиратель за работой угощаются остатками нашего завтрака или чая, и только завидя издали где-нибудь начальника, для церемонии вскакивает со стереотипным возгласом: “Да что ж это вы, господа, не работаете?” Часовые вскакивают и хватаются

<sup>60</sup> Жизнь декабристов в Чите и в Петровском заводе подробно рассказана по этим сведениям С. Максимовым («Сибирь и каторга», III, гл. 2). Много архивных сведений дано в книге Дмитриева-Мамонова «Декабристы в Западной Сибири».

<sup>61</sup> Завалишин Д. Записки. II, с. 80–81, 164.

<sup>62</sup> Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 212–213.

за ружья; но начальник прошел (он и сам старается ничего не видеть), и все возвращается в обычное нормальное-ненормальное положение». <sup>63</sup>

Это «нормальное» положение было вначале очень скучным, за частоколом и в тесноте, <sup>64</sup> но затем община заключенных организовалась. <sup>65</sup>

Они «получали газеты, даже запрещенные, в которые завертывались посылки. Каземат выписывал одних газет и журналов на разных языках на несколько тысяч рублей».

Заключенные «занимались взаимным обучением. Так, например, Лунин и Оболенский учились у Завалишина по-гречески, Барятинский, Басаргин и др. высшей математике у него же, Беляев, Одоевский и др. у него по-английски».

Между товарищами было много хороших музыкантов и знатоков пения. <sup>66</sup> У них часто бывали вокальные и инструментальные концерты. «Одних фортепиано было восемь, как ни дорого стоила в то время присылка громоздких инструментов. Детей также обучали и музыке, и пению, и обучение церковному пению подало предлог к учреждению школы». <sup>67</sup>

«Вскоре мы устроили общие поучительные беседы, – рассказывает Басаргин. – Воскресенье утром читали вслух что-нибудь религиозное, например, собственные переводы знаменитых иностранных проповедников, английских, немецких, французских, проповеди известных духовных особ русской церкви и кончали чтением нескольких глав из Евангелия, Деяний Апостолов или Посланий. <sup>68</sup> Два раза в неделю собирались мы также и на литературные беседы. Тут каждый читал что-нибудь собственное или переводное из предмета, им избранного: истории, географии, философии, политической экономии, словесности, поэзии и т. д. Бывали и концерты или вечера музыкальные. Звучные и прекрасные стихи Одоевского, относящиеся к нашему положению, согласные с нашими мнениями, с нашей любовью к отечеству, нередко пелись хором, под звуки музыки собственного сочинения кого-либо из наших товарищей-музыкантов. Занятия политическими, юридическими и экономическими науками были общие, и по этим предметам написано было много статей». <sup>69</sup>

«Для обсуждения всех новых произведений были устроены правильные собрания, которые называли в шутку «академией». Очень развита была также легкая и сатирическая литература; для некоторых стихотворений была сочинена и музыка (например, для пьесы Одоевского “Славянские девы” на мотив “Стояла старица”), чем преимущественно занимался Вадковский». <sup>70</sup>

«Между нами, – рассказывает другой участник академии Лорер, – были отличные музыканты, как-то: Ивашев, Юшневский, Витковский [Вадковский. – *Ред.*], оба брата Крюковы; они в совершенстве владели разными инструментами. Явились вскоре рояли, скрипки, виолончели, составились оркестры, а один из товарищей, Свистунов, зная отлично вокальную музыку, составил из нас превосходный хор и дирижировал им. Бывало, народ обступит частокол нашей

<sup>63</sup> Завалишин Д. Записки. II, с. 86–87.

<sup>64</sup> «К частоколу в разных местах виднелись дорожки, протоптанные стопами наших незабвенных добрых дам, – пишет Беляев. – Каждый день по несколько раз подходили они к скважинам, образуемым кривизнами частокола, чтобы поговорить с мужьями, пожать им руки, может быть, погрузить вместе, а может быть, и ободрить друг друга в перенесении наложенного тяжелого креста. Сколько горячих поцелуев любви, преданности, благодарности безграничной уносили эти ручки, протянутые сквозь частокол! Сколько, может быть, слез упало из прекрасных глаз этих юных страдалец на протоптанную тропинку. Всю прелесть, всю поэзию этих посещений мы все чувствовали сердцем; а наш милый поэт Ал. Иванович Одоевский воспел их чуднозвучными и полными чувства стихами». (Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 231).

<sup>65</sup> Существовала целая комиссия для выработки устава внутреннего управления этой «общиной». В комиссии принимал участие и Одоевский. (Завалишин Д. Записки. II, с. 225).

<sup>66</sup> Одоевский был очень хороший музыкант.

<sup>67</sup> Завалишин Д. Записки. II, с. 94, 95, 97.

<sup>68</sup> Среди декабристов в Чите образовалось целое религиозное общество, которое называлось «конгрегация». О нем, вероятно, и идет речь у Басаргина. Ср. Сиротинин А. Князь А. И. Одоевский. – Исторический вестник. 1883. Май, с. 400.

<sup>69</sup> Басаргин Н. Записки. С. 86.

<sup>70</sup> Завалишин Д. Записки. II, с. 103.

тюрьмы и слушает со вниманием гимны и церковное пение... Строгие правила инструкции мало-помалу забывались, да и невозможно было за всем уследить. Например, у нас отобрали серебряные ложки и хранили их у коменданта, а из Петербурга нам прислали столовые приборы из слоновой кости, гораздо ценнее самого серебра. Устроив мало-помалу свое материальное довольство, мы не забыли и умственного. Стоило появиться в печати какой-нибудь примечательной книге, и феи наши уже имели ее у себя для нас. Газеты, журналы выписывались многими, а Никита Муравьев даже перевез в Сибирь всю богатую библиотеку своего отца для общего употребления. Между нами устроилась академия, и условием ее было: все написанное нашими читать в собрании для обсуждения. Так, при открытии нашей каторжной академии, Николай Бестужев, брат Марлинского, прочитал нам историю русского флота, брат его, Михаил, прочел две повести, Торсон – плавание свое вокруг света и систему наших финансов, опровергая запретительную систему Канкринна и доказывая ее губительное влияние на Россию. Розен в одно из заседаний прочел нам перевод “Stunden der Andacht” (часы молитвы). Александр Одоевский, славный наш поэт, прочитал стихи, посвященные Никите Муравьеву как президенту Северного общества. Он читал отлично и растрогал нас до слез. Дамы наши прислали ему венок. Корнилович прочел нам разыскание о русской старине; Бобрищев-Пушкин тешил нас своими прекрасными баснями»...<sup>71</sup>

«В долгие зимние вечера, – говорит барон Розен, – для развлечения и поучения несколько товарищей-специалистов согласились читать лекции: Никита Муравьев – стратегии и тактики, Ф. Б. Вольф – химии и физики, П. С. Бобрищев-Пушкин – прикладной и высшей математики, А. О. Корнилович и П. А. Муханов – русской истории, К. П. Торсон – астрономии и А. И. Одоевский – русской словесности».<sup>72</sup>

Барон Розен рассказывает далее обстоятельно о том, как Одоевский справлялся со своей задачей. Рассказ любопытен, так как показывает, каким богатым запасом знания обладал Александр Иванович еще до ссылки, т. е. как литературно и даже учено-литературно был образован этот светский молодой человек.

«А. И. Одоевскому, – говорит Розен,<sup>73</sup> – в очередной день следовало читать о русской литературе: он сел в углу с тетрадь в руках, начал с разбора песни о походе Игоря, продолжал несколько вечеров и довел лекции до состояния русской словесности в 1825 году. Окончив последнюю лекцию, он бросил тетрадь на кровать, и мы увидели, что она была белая, без заметок, без чисел хронологических, и что он все читал на память. Упомяну об этом обстоятельстве не как о подвиге или о желании выказаться, но, напротив того, как о доказательстве, до какой степени Одоевский избегал всяких писаний; может быть, он держал пустую тетрадь в руках для контенанса; в первую лекцию, воспламенившись вдохновением, он изредка краснел, как бывало с ним при сочинении рифмованных экспромтов».<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Из записок Н. И. Лорера. – Русское богатство. 1904. VII, с. 78–79.

<sup>72</sup> Сам барон Розен пояснял своим товарищам личное освобождение крестьян Прибалтийских губерний из крепостной зависимости без наделов земли, без всяких выкупных договоров, но с общим правом приобретения земельной собственности по обоюдным соглашениям.

<sup>73</sup> Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 10–12.

<sup>74</sup> Одоевский сочинил в каземате даже целую грамматику русского языка (*Беляев А.* Воспоминания декабриста. С. 241), и Розен хранил у себя основные правила этой грамматики, записанные рукой Одоевского (*Розен А.* Записки декабриста. Лейпциг, 1870, с. 230). К собранию сочинений Одоевского Розен приложил письмо Александра Ивановича (очевидно, к князю Вяземскому, как утверждает Розен), из которого видно, что декабристы имели намерение издавать альманах «Зарница» в пользу невинно заключенных и просил у столичных литераторов содействия (Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 189). Письмо подписано Z. Z., но, судя по стилю и тону, едва ли принадлежит Одоевскому.

## VI

В 1831 году Одоевский вместе с другими товарищами был переведен из читинского острога в Петровскую тюрьму (за Байкалом), при балагинском железном заводе.<sup>75</sup>

«Работы наши, – рассказывает Розен, – продолжались как по-прежнему в Чите, летом на дорогах, в огороде, зимою мололи на ручных мельницах; в досужное время каждый занимался по своей охоте; в книгах не было недостатка, для учения было более удобств. Александр Иванович Одоевский дважды в неделю работал со мною».<sup>76</sup>

Совсем в веселом тоне говорит об этой петровской жизни и А. Беляев. «Работы наши и здесь продолжались также на мельнице, точно в таком же порядке, как и в Чите; только, так как нас здесь было более числом, то выходили на работу поочередно и по партиям, а не все каждый день. Из всего этого видно, что заключение было весьма человеколюбивое и великодушное; мы лишены были свободы, но, кроме свободы, мы не были ни в чем стеснены и имели все, что только образованный развитой человек мог желать для себя. К тому еще, если прибавить, что в этом замке или остроге были собраны люди действительно высокой нравственности, добродетели и самоотвержения и что тут было так много пищи для ума и сердца, то можно сказать, что заключение это было не только отраднo, но и служило истинной школой мудрости и добра».<sup>77</sup>

В конце 1832 года, по случаю рождения В. К. Михаила Николаевича, убавили по несколько лет каторжной работы тому разряду, в котором находился Одоевский, и срок его каторги кончился. Он выехал из Петровской тюрьмы на поселение в начале 1833 года.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 7.

<sup>76</sup> Розен А. Записки. С. 255.

<sup>77</sup> Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 242.

<sup>78</sup> Басаргин Н. Записки. С. 127.

## VII

Одоевский был поселен в селении Еланском, Иркутской губернии,<sup>79</sup> где он прожил три года. Нужды он не терпел,<sup>80</sup> но жизнь была очень скучная. Он жил в собственном деревянном домике, который купил себе за 400 руб. и обзавелся кое-каким хозяйством.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Сведения о сибирской жизни Одоевского и переписка его отца с властями по вопросу о перемещении сына в разные города Сибири и о свидании с ним хранятся в Архиве III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (I экспедиция, № 61, часть 86).

<sup>80</sup> Он располагал суммой в 1000 руб. ежегодно. В 1833 г. Одоевский пожелал помочь из своих денег трем товарищам, которые были выпущены на поселение и очень нуждались. Он просил своего дядю Ланского высылать ему ежегодно 6000 руб. и хотел 3000 из этой суммы уделить товарищам. Дело о разрешении этой присылки дошло до Государя, который отказал в просьбе. Одоевскому было выставлено на вид, что по своему положению он имеет право получать лишь 1000 р. ежегодно.

<sup>81</sup> Инвентарь этого хозяйства сохранился по описи Волостного Головы, который ее составил, когда Одоевский покидал Елань и передавал барону Штейнгелю свое имущество. Опись довольно любопытна. Вот она с сохранением орфографии оригинала.

С судьбой поселенца Одоевский мирился туго. По крайней мере, в первый же год жизни в Елани он писал царю письмо, в котором обращался с просьбой о прощении ему его вины. Он говорил, что вполне заслужил кару, но что чем больше убеждается в вине своей, тем сильнее тяготеет над ним имя преступника. Он просил дать ему возможность утешить скорбного и нежного отца, усладить преклонные лета его и принять его прощальный взор и последнее отеческое целование. Он обещал, что сердечная преданность Государю будет направлять отныне

*Наименование имуществу*

Земли самим расчищенной — 1 1/2 дес.  
 Земли нанятой у крестьян на разные сроки от 4 до 20 лет — 16 1/2 дес.  
 Из них засеенных разным хлебом — 13 дес.  
 Дом деревянный с пристроенною горницею отъезжекоренную внутри — 1.  
 При нем анбар.  
 Скотников с поветами — 2.  
 Огород.  
 В горнице благословение Божие образ святителя Инокентия без оклада.  
 Мебели: Картина масляными красками писанная в золотых рамах.  
 Другая гравированная в черных рамах с прозолот. по краям.  
 Столярной работы из березового дерева шкаф со стеклами.  
 Книжных шкафов — 2, ширмы, диван, кровать, барометр.  
 Форто-пьяна (оставлена с тем чтобы зимою переслать).  
 Разных вещей: ложек серебряных — разливальная; хлебальных больших — 2, чайных — 2, поднос лаковый, чайник фарфоровый, чашек фарфоровых — 3 пары, скатерть, салфеток — 2, кофейная мельница, графин хрустальный, рюмок — 3, стакан, миска фаянцовая, тарелок глубоких — 2, тарелок мелких — 2. Блюда.  
 Кухонной посуды: кастрюль больших — 1, малых — 1, сковород — 2, нож поварской, ухват, сковородник.  
 При доме: лошадей 4  
                     корова 1  
                     свиной 4, из коих две прапали и одну убили.  
 Карабок с 4 камнями уборными,  
 телег 3  
 сани 1  
 дровень 2  
 дрогов 6  
 сох 4  
 борон железных 3  
                     деревянная 1  
 хомутов наборных 1  
                     простых 6  
 шлей 5  
 Ненеустков 3  
 узд 5  
 дуг 2  
 топоров уских 2  
                     широких 1  
 долот 2  
 седелка железная 1  
 серпов новых 6  
                     старых 3  
 кос новых 4  
                     старых 3  
                     горбуш 2

все стези его жизни и что он посвятит на оправдание своих слов все силы, «сколько осталось их от возрастающего грудного изнеможения».<sup>82</sup>

О переводе Одоевского в другое место из «дикой Елани, где климат так суров и где леса горят от беглых», начал в то же время хлопоты и его отец – князь Иван Одоевский. Он писал частые и длинные письма ген. – адъютанту Бенкендорфу, прося его исходатайствовать сыну облегчение его участи. Старик просил сначала определить сына в солдаты и разрешить ему отдохнуть в его имении, но так как думать об исполнении этой просьбы он не смел, то просил перевести сына хоть в Курган, где находились бар. Розен и Нарышкин. Если нельзя в Курган,<sup>83</sup> то хоть в Ишим. Старик мотивировал свою просьбу тем, что климат Елани вреден для его сына.<sup>84</sup>

На опасения отца о здоровье сына исправляющий должность генерал-губернатора Восточной Сибири писал, что Александр Одоевский «здоров, не жалуется и ведет себя хорошо».

23 мая 1836 года царь разрешил, наконец, перевести Одоевского из Елани в Ишим. В июле 1836 года Одоевский был отправлен в Тобольск под надзором одного казака, которому выдали 1000 руб., принадлежащих Одоевскому, для расходования их по мере надобности. В конце августа он был в Ишиме.

С этого же времени старик стал хлопотать о свидании с сыном.

«Ah! combien je suis heureux de vous savoir plus près de moi, – писал он сыну – en pensant que par le premier trâinage je pourrai venir vous presser contre mon coeur, et vous couvrir de tendres baisers. *L'ideé seule* que mes yeux pourront voir les vôtres, que je pourrai me jeter dans vos bras – fait toute ma félicité».

Это письмо сделалось известным ген. – губернатору П. Д. Горчакову, который, усматривая в нем как бы выражаемое князем Одоевским желание навестить своего сына на новом месте поселения, счел необходимым просить гр. Бенкендорфа дать ему указания к руководству на будущее время о том, возможно ли допускать свидания родственников с поселенцами из государственных преступников.

Переписка была длинная, пока наконец в 1836 году 25 ноября Бенкендорф не уведомил Горчакова, что родственникам находящимся в Сибири государственных преступников не может быть дозволяемо приезжать в Сибирь для свиданий и «что буде кто-либо из родственников означенных преступников отправится в тот край, не испросив предварительно на сие дозволения, то местное начальство обязано немедленно его выслать».<sup>85</sup>

В январе 1837 года старик князь Иван Одоевский через императрицу возобновил ходатайство о поселении сына в своем имении во Владимирской губернии, но согласия на это ходатайство и на этот раз не последовало.

Александр Иванович с своей стороны ходатайствовал перед Бенкендорфом о разрешении вступить рядовым в армию, действовавшую на Кавказе. Это прошение было уважено царем 19 июня 1837 года. Рассказывают, что царь уступил главным образом под впечатлением стихотворения Одоевского «Послание к отцу», переданного царю Бенкендорфом вместе с его ходатайством.

---

<sup>82</sup> Иркутский ген. – губернатор подтверждает искренность раскаяния Одоевского и действительность его недуга. Письмо Одоевского было оставлено, однако, без производства.

<sup>83</sup> Где князь Иван Одоевский бывал сам, когда командовал драгунским полком в Сибири.

<sup>84</sup> Тяжело читать эти письма. Желая задобрить Бенкендорфа, князь Иван Одоевский не скупится на бранные слова по адресу товарищей своего сына, этих «мерзавцев», которые его увлекли: он говорит, что стыдится сына и что и его следовало повесить, как тех «монстров». Он восторженно отзываясь об императоре Николае, пишет, как он боялся, чтобы царь и Бенкендорф не простудились на смотру, выражает свой неопикуемый восторг по поводу подавления Тольского восстания, поздравляет восторженно Бенкендорфа с графским титулом – и все это затем, чтобы в конце каждого письма напомнить о сыне и просить за него.

<sup>85</sup> *Дмитриев-Мамонов. Декабристы в Западной Сибири. С. 135–136.*

До Казани Александр Иванович шел этапным путем, а затем на собственный счет покати́л на почтовых с жандармом, торопясь не опоздать в экспедицию против горцев.

В Казани состоялось, наконец, его свидание с отцом, который выехал ему навстречу. Н. И. Лорер так рассказывает в своих записках про этот трогательный эпизод.

«70-летний князь Одоевский также приехал двумя днями ранее нас, чтоб обнять на пути своего сына, и остановился у губернатора Стрекалова, своего давнишнего знакомого. В день нашего въезда в Казань, узнав, что его любимое детище, Александр Одоевский, уже в городе, старик хотел бежать к сыну, но его не допустили, а послали за юношей. Сгорая весьма понятным нетерпением, дряхлый князь не выдержал и при входе своего сына все-таки побежал к нему навстречу по лестнице; но тут силы ему изменили, и он, обнимая сына, упал, увлекши и его за собою. Старика подняли, привели в чувство, и оба счастливица плакали и смеялись от избытка чувств. После первых восторгов князь-отец заметил сыну: “Да ты, брат, Саша как будто и не с каторги, у тебя розы на щеках”. И, действительно, Александр Одоевский в 35 лет был красивейшим мужчиной, каких я когда-нибудь знал. Стрекалов оставил обоих Одоевских у себя обедать, а вечером все вместе провели очень весело время.

28 августа мы оставили Казань. Старый Одоевский провожал сына до третьей станции, где дороги делятся, одна идет на Кавказ, другая – на Москву. При перемене лошадей, готовясь через несколько минут проститься со своим Сашей, бедный отец грустно сидел на крылечке почтового дома и почти машинально спросил проходившего ямщика: “Дружище, а далеко будет отсюда поворот на Кавказ?” “Поворот не с этой станции, – отвечал ямщик, – а с будущей”... Старик-князь даже подпрыгнул от неожиданной радости: еще 22 версты лицезреть, обнимать своего сына!.. и он подарил ямщику 25 руб., что очень удивило последнего. Однако, рано или поздно, расставанье должно было осуществиться. Чувствовал ли старик, обнимая сына, что в последний раз лобызает его?»<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. I, с. 366–368.

## VIII

Одоевский ехал в новый, неизвестный ему край, «от 40 градусов мороза к 40 градусам жары». Как бывший кавалерист, он был определен в Нижегородский драгунский полк, который стоял тогда в урочище Кара-Агач близ Царских Колодцев, верстах в 100 от Тифлиса.

О пребывании Одоевского на Кавказе сохранилось много, хотя и отрывочных, сведений в воспоминаниях современников. Сопоставим эти сведения, и мы получим довольно полную картину последних лет жизни поэта.

Первая его стоянка была в Ставрополе, где он застал многих из своих товарищей.

«Осенью 1837 года, – рассказывает Н. Сатин, – в Ставрополь привезли декабристов Нарышкина, Лорера, Розена, Лихарева и Одоевского. Несмотря на 12 лет Сибири, все они сохранили много жизни, много либерализма и мистически-религиозное направление, свойственное царствованию Александра I. Но из всех веселостью, открытой физиономией и игривым умом отличался Александр Одоевский. Это был действительно “мой милый Саша”, как его прозвал Лермонтов. Ему было тогда 34 года, но он казался гораздо моложе, несмотря на то, что был лысый. Улыбка, не сходящая почти с его губ, придавала лицу его этот вид юности».

«Я и Майер отправились провожать наших новых знакомых до гостиницы, в которой они остановились, – продолжает Сатин. – Между тем пошел сильный дождь, и они не хотели отпустить нас. Велели подать шампанского и пошли разные либеральные тосты и разные рассказы о 14 декабря и обстоятельствах, сопровождавших его. Можете представить, как это волновало тогда наши еще юные сердца и какими глазами смотрели мы на этих людей, из которых каждый казался нам или героем или жертвой грубого деспотизма!

Как нарочно, в эту самую ночь в Ставрополь должен был приехать Государь. Наступил темный осенний вечер, дождь лил ливнем, хоть на улице были зажжены плошки, но, заливаемые дождем, они трещали и гасли и доставляли более вони, чем света.

Наконец, около полуночи прискакал фельдъегерь, и послышалось отдаленное “ура”. Мы вышли на балкон; вдали, окруженная горящими смоляными факелами, двигалась темная масса.

Действительно, в этой картине было что-то мрачное.

– Господа! – закричал Одоевский. – Смотрите, ведь это похоже на похороны! Ах! если бы мы подоспели!.. – И, выпивая залпом бокал, прокричал по-латыни:.....<sup>87</sup>

– Сумасшедший! – сказали мы все, увлекая его в комнату, – что вы делаете? ведь вас могут услышать, и тогда беда!

– У нас в России полиция еще не училась по-латыни, – отвечал он, добродушно смеясь.<sup>88</sup>

В Ставрополе товарищам вообще жилось весело. «У командира Моздокского казачьего полка Баранчеева собирались декабристы Кривцов, Палицын, Лихачев [Лихарев. – *Ред.*], Черкасов, Одоевский, Нарышкин и Коновницын и целый кружок офицеров. Углублялись не в политику и не в философию (?), которые надоели и измучили их. Коротали долгие вечера – бостоном, копеечным бостоном и доигрывались до изнеможения сил, пока карты из рук не падали», – так рассказывает один из участников этих веселых вечеров.<sup>89</sup>

Мы встречаем затем Одоевского в Тифлисе.

«Одоевского застал я в Тифлисе, – рассказывает А. Розен, где он находился временно, по болезни. Часто он хаживал на могилу своего друга Грибоедова, воспел его память, воспел Грузию звучными стихами, но все по-прежнему пренебрегал своим дарованием. Всегда бес-

<sup>87</sup> Латинские слова в воспоминаниях Сатина опущены.

<sup>88</sup> Из воспоминаний Н. М. Сатина. – Почин. М., 1895, с. 243–244.

<sup>89</sup> Из автобиографических рассказов бывшего Кавказского офицера. – Русский архив. 1881. II, с. 231.

печный, всегда довольный и веселый, как истый русский, он легко переносил свою участь; был самым приятным собеседником, заставлял много смеяться других, и сам хохотал от всего сердца. В том же году я еще два раза съехался с ним в Пятигорске и в Железноводске. Просил и умолял его дорожить временем и трудиться по призванию, – мое предчувствие говорило мне, что не долго ему жить; я просил совершить труд на славу России».<sup>90</sup>

В 1839 году летом Одоевский был в Пятигорске, где с ним встретился Н. П. Огарев. В своих воспоминаниях Огарев сохранил нам мастерский портрет своего друга:<sup>91</sup>

«Одоевский был, – пишет Огарев, – без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов писал его с натуры. Да, “этот блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую” не забудет никто из знавших его.

В этих глазах выражалось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выражалось милосердие. Может быть, эта сторона, самая поэтическая сторона христианства, всего более увлекла Одоевского. Он весь принадлежал к числу личностей хриstopодобных. Он носил свою солдатскую шинель с тем спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, и с тою же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе... да не только в христианском духе, но в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности, около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия. Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. Он никогда не только не печатал, но и не записывал своих многочисленных стихотворений, не полагая в них никакого общего значения. Он сочинял их наизусть и читал наизусть людям близким. В голосе его была такая искренность и звучность, что его можно было заслушаться... Он обыкновенно отклонял всякое записывание своих стихов. Хотел ли он пройти в свете “без шума, но с твердостью”, пренебрегая всякой славой... что бы ни было, но

дела его и мненья  
И думы, – всё исчезло без следов,  
Как легкий пар вечерних облаков...

и у меня в памяти осталась музыка его голоса – и только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая...

Встреча с Одоевским и декабристами возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я – идущий по их дороге, я – обрекающий себя на ту же участь... Это чувство меня не покидало. Я написал в этом смысле стихи, которые, вероятно, были плохи по форме, потому что я тогда писал много и чересчур плохо, но которые по содержанию наверно были искренни до святости, потому что иначе не могло быть. Эти стихи я писал к Одоевскому после долгих колебаний истинного чувства любви к *ним* и самолюбивой застенчивости. Часа через два я сам пошел к нему. Он стоял середь комнаты; мои стихи лежали перед ним на стуле. Он посмотрел на меня с глубоким, добрым участием и раскрыл объятия; я бросился к нему на шею и заплакал, как ребенок. Нет! и теперь не стыжусь я этих слез: в самом деле, это не были слезы пустого самолюбия. В эту минуту я слишком любил его и их всех, слишком чисто был предан общему делу, чтоб какое-нибудь маленькое чувство могло иметь доступ до сердца. Они были чисты, эти минуты, как редко бывает в жизни. Дело было не в моих стихах, а в отношении к начавшему, к распятому поколению – поколения, принявшего завет и продолжающего задачу.

---

<sup>90</sup> Розен А. В ссылку. М., 1900, с. 208, 209.

<sup>91</sup> Полярная звезда. 1861. VI, с. 338 и след. Статья «Кавказские Воды».

С этой минуты мы стали близки друг к другу Он – как учитель, я – как ученик. Между нами было с лишком десять лет разницы; моя мысль была еще не устоявшаяся; он выработал себе целостность убеждений, с которыми я могу теперь быть не согласен, но в которых все было истинно и величаво. Я смотрел на него с религиозным восторгом. Он был мой критик.

Но гораздо большее влияние он имел на меня в теоретическом направлении и на моей хорошо подготовленной романтической почве быстро вырастил христианский цветок – бледный, унылый, с наклоненной головою, у которого самая чистая роса похожа на слезы. Вскоре я мог с умилением читать Фому Кемпийского, стоять часы на коленях перед распятием и молиться о ниспослании страдальческого венца... за русскую свободу. От этого первоначального стремления, основного помысла ни он никогда не мог оторваться, ни я, и к нему, как к единой окончательной цели примыкало наше религиозное настроение, с тою разницею, что он уже носил страдальческий венец, а я его жаждал.

Был ли Одоевский католик (?) или православный... не знаю. Припоминая время, в два десятка лет уже так много побледневшее в памяти, мне кажется, я должен придти к отрицанию того и другого. Он был просто христианин, философ или, скорее, поэт христианской мысли, вне всякой церкви. Он в христианстве искал не церковного единства, как Чаадаев, а исключительно самоотречения, чувства преданности и забвения своей личности; к этому вели его и обстоятельства жизни с самой первой юности, и самый склад мозга; это настроение было для него естественно. Но от этого самого он не мог быть и православным; церковный формализм был ему чуждым. Вообще церковь была ему не нужна; ему только было нужно подчинить себя идеалу человеческой чистоты, которая для него осуществилась в Христе.

... Мечты, которой никогда  
Он не вверял заботам дружбы нежной...

т. е. мечты какого-нибудь личного счастья, он не вверял, потому что ее у него не было. Его мечта была только самоотвержение. Ссылка, невольное удаление от гражданской деятельности, привязала его к религиозному самоотвержению, потому что иначе ему своей преданности некуда было девать. Но может быть и при других обстоятельствах он был бы только поэтом гражданской деятельности; чисто к практическому поприщу едва ли была способна его музыкальная мысль. Что в нем отразилось направление славянства, это свидетельствует песнь славянских дев, набросанная им в Сибири, случайно, вследствие разговоров и для музыки, и, конечно, принадлежащая к числу его неудачных, а не его настоящих, с ним похороненных стихотворений. Она важна для нас, как памятник, как свидетельство того, как в этих людях глубоко лежали все зародыши народных стремлений; но и в этой песне выразились только заунывный напев русского сердца и тайная вера в общую племенную будущность, а о православии нет и помину.

В августе мы поехали в Железноводск. Одоевский переселился туда же. Жизнь шла мирно в кругу так для меня близком.

Я помню в особенности одну ночь. Н., Одоевский и я, мы пошли в лес, по дорожке к источнику. Деревья по всей дорожке дико сплетаются в крытую аллею. Месяц просвечивал сквозь темную зелень. Ночь была чудесна. Мы сели на скамью, и Одоевский говорил свои стихи. Я слушал, склоня голову. Это был рассказ о видении какого-то светлого женского образа, который перед ним явился в прозрачной мгле и медленно скрылся,

Долго следил я эфирную поступь...

Он кончил, а этот стих и его голос все звучали у меня в ушах. Стих остался в памяти; самый образ Одоевского, с его звучным голосом, в поздней тишине леса, мне теперь кажется тоже каким-то видением, возникшим и исчезнувшим в лунном сиянии кавказской ночи». <sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Огарев и в стихах вспоминал своего друга —... кого я глубоко любил, Тот — муж по твердости и нежный, как ребенок, Чей взор был милосерд и полон кротких сил, Чей стих мне был, как песнь серебряная, звонок, —В свои объятия меня он заключил, И память мне хранит сердечное лобзанье, Как брата старшего святое завещанье.

## IX

Походная жизнь на первых порах, кажется, не очень тяготила Одоевского: он даже увлекся ее удалью.

«Каким знали мы его в тюрьме, – рассказывает А. Беляев, – таким точно и остался он до конца: всегда или серьезный, задумчивый, во что-то углубленный, или живой, веселый, хохочущий до исступления. Он имел порядочную дозу самолюбия, а как здесь он увидел во всем блеске удалство линейных казаков, их ловкость на коне, поднятие монет на всем скаку, то захотел непременно достигнуть того же, беспрестанно упражнялся и, конечно, не раз летал с лошади».<sup>93</sup>

На бивуаках жилось Одоевскому тоже и весело, и привольно, если верить Н. И. Лореру. «У Одоевского, – говорит он, – был собственный шатер, и он предложил мне поселиться с ним, на что я с удовольствием, конечно, согласился, любя его искренне и приобретая в нем приятного собеседника. Ко всем приятностям собеседничества у Одоевского присоединился отличный повар, и мы с ним согласились дать обед. Для этой цели накупили у маркитанта всего необходимого вдоволь и составили пригласительный список. Приглашенных набралось до 20 человек, и в Иванов день, 24 июня, в трех соединенных палатках, с разнокалиберными приборами, занятыми у званых же, все мы собрались. Капитан Маслович был именинник, и мы пили радушно его здоровье и веселились на славу. После обеда Пушкина, знавшего наизусть все стихи своего брата и отлично читавшего вообще, мы заставили декламировать, и он прочел нам “Цыган”».<sup>94</sup>

Настроение духа Одоевского изменилось резко в июле месяце 1839 года, когда до него дошла весть о кончине его отца. «Мой милый друг, – писал он своему товарищу по несчастью М. А. Назимову, – я потерял моего отца: ты его знал. Я не знаю, как я был в состоянии перенести этот удар – кажется, последний; другой, какой бы ни был, слишком будет слаб, по сравнению. Все кончено для меня. Впрочем, я очень, очень спокоен. Мой добрый, мой нежный отец попросил перед кончиной мой портрет. Ему подали сделанный Волковым. “Нет, не тот”, – сказал он слабым голосом. Тот портрет, который ты подарил ему, он попросил положить ему на грудь, прижал его обеими руками и – умер. Портрет сошел с ним в могилу... Я спокоен... – говорить – говорю, как и другие; но когда я один перед собою или пишу к друзьям, способным разделить мою горесть, то чувствую, что не принадлежу к этому миру».<sup>95</sup>

«Одоевский, получивший недели две тому назад горестное известие о кончине своего отца, – продолжает Лорер, – совершенно изменился и душевно, и физически. Не стало слышно его звонкого смеха; он грустил не на шутку, по целым дням не выходил из палатки и решительно отказался ехать с нами в Керчь. “Je reste ici comme victime expiatoire”, – были его последние слова на берегу. Чтобы отсрочить хоть несколько горестную минуту разлуки, Одоевский сел с нами в лодку и пожелал довести нас до парохода. Там он сделался веселее, шутил и смеялся. “Ведь еще успеют перевезти твои вещи: едем вместе”, – уговаривал я его. “Нет, любезный друг, я остаюсь”. Лодка с Одоевским отвалила от парохода, я долго следил за его белой фуражкой, мы махали фуражками и платками, и пароход наш, пыхтя и шумя колесами, скоро повернул за мыс, и мы расстались с нашим добрым, милым товарищем. Думал ли я, что это было последнее с ним свидание в здешнем мире?».<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 413.

<sup>94</sup> Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. II, с. 646–647.

<sup>95</sup> Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 192–193.

<sup>96</sup> Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив». 1874. II, с. 649–650.

Одоевский, действительно, смотрел на себя как на искупительную жертву и стал напрашиваться на опасность. Г. И. Филипсон имел случай наблюдать его в этом возбужденном состоянии.

«Я пошел навестить князя Одоевского, – рассказывает он, – который был прикомандирован к 4-ому батальону Тенгинского полка. Я нашел его в горе: он только что получил известие о смерти своего отца, которого горячо любил. Он говорил, что порвалась последняя связь его с жизнью; а когда узнал о готовящейся серьезной экспедиции, обрадовался и сказал решительно, что живой оттуда не воротится, что это перст Божий, указывающий ему развязку с постылой жизнью. Он был в таком положении, что утешать его или спорить с ним было бы безрассудно. Поэтому, пришед к себе, я тотчас изменил диспозицию: 4-й батальон Тенгинского полка оставил в лагере, а в словесном приказании поставил частным начальникам в обязанность, под строгую ответственностью, не допускать прикомандирования офицеров и нижних чинов из одной части в другую для участия в предстоящем движении. Но и это не помогло. Вечером я узнал, что князь Одоевский упрямил своего полкового командира перевести его задним числом в 3-й батальон, назначенный в дело. Я решился на последнее средство: пошел к Н. Н. Раевскому и просил его призвать к себе князя Одоевского и лично строго запретить ему на другой день участвовать в действии. Я рассказал ему причину моей просьбы и, казалось, встретил с его стороны участие. Призванный кн. Одоевский вошел в кибитку Раевского и, оставаясь у входа, сказал на его холодное приветствие солдатскую формулу: “Здравия желаю Вашему Пр-ву”. Раевский сказал ему: “Вы желаете участвовать в завтрашнем движении: я вам это позволяю”. Одоевский вышел, а я не верил ушам своим и не мог понять, насмешка ли это надо мною или следствие их прежних отношений? Наконец, такого тона на Кавказе не принимал ни один генерал с декабристами. Оказалось, что все это произошло просто от рассеянности Раевского, которому показалось, что я именно прошу его позволения Одоевскому участвовать в движении. Так, по крайней мере, он меня уверял. Я побежал к князю Одоевскому и объяснил ему ошибку. Вероятно, я говорил нехладнокровно. Это его тронуло; мы обнялись, и он дал мне слово беречь свою жизнь. Это глупое недоразумение нас еще более сблизило, и я с особенным удовольствием вспоминаю часы, проведенные в беседе с этой светлой, поэтической и крайне симпатичной личностью. Этих часов было немного».<sup>97</sup>

Желание Одоевского исполнилось скоро, но не совсем так, как он надеялся. Умер он не на поле брани, а пал случайной жертвой изнурительной горячки, которая свирепствовала на восточном берегу Черного моря, в Лазаревском форту, где Одоевский жил на позициях.

«Через месяц, когда мы были уже в Пезуапé, – продолжает Филипсон, – я должен был ехать с Раевским на пароходе по линии и зашел к Одоевскому проститься. Я нашел его на кровати, в лихорадочном жару. В отряде было множество больных лихорадкой; жары стояли тропические. Одоевский приписывал свою болезнь тому, что накануне он начитался Шиллера в подлиннике на сквозном ветру чрез поднятые полы палатки».<sup>98</sup>

«5-го августа, – по словам Розена, – Одоевский был у всенощной в полковой церкви. Товарищ его Загорецкий встревожился, увидев лицо его необыкновенно раскрасневшимся, и считал это дурным признаком. На другой день, 6-го августа, Одоевский слег. В недостроенной казарме приготовили для него помещение в одной комнате: до этого пролежал он три дня в походной палатке, но не переставал быть веселым и разговорчивым и нисколько не сознавал опасности своего положения, читал импровизованные стихи на счет молодого неопытного лекаря. В день Успения, 15 августа, в 3 часа пополудни, прислуга отлучилась; Загорецкий остался один с больным, которому понадобилось присесть на кровать. Загорецкий помог ему, придерживая его; вдруг он, как сноп, свалился на подушку, так что, при всей своей силе, Заго-

<sup>97</sup> Воспоминания Г. И. Филипсона. М., 1885, с. 202–204.

<sup>98</sup> Воспоминания Г. И. Филипсона. С. 202–204.

рецкий не мог удержать его; призвали лекаря и фельдшера; они решили, что больной скончался... Так отдал он Богу последний вздох беспредельной любви».<sup>99</sup>

«Когда я возвратился из своей поездки, – рассказывает Филипсон, – недели через две, Одоевского уже не было, и я нашел только его могилу с большим деревянным крестом, выкрашенным красной масляной краской. При последних его минутах был наш добрый Сальстет, которого покойный любил за его детскую доброту и искренность.

Но для Одоевского еще не все кончилось смертью. Через час после его кончины Сальстет увидел, что у него на лбу выступил пот крупными каплями, а тело было совсем теплое. Все бросились за лекарями; их прибежало шесть или семь, но все меры к оживлению оказались бесполезными: смерть не отдала своей жертвы. Много друзей проводило покойного в его последнее жилище. Отряд ушел, кончив укрепление, а зимой последнее было взято горцами. Когда в 1840 году мы снова заняли Псезуапé, я пошел навестить дорогую могилу. Она была разрыта горцами, и красный крест опрокинут в могилу. И костям бедного Одоевского не суждено было успокоиться в этой второй стране изгнания!».<sup>100</sup>

Правдивость этого рассказа подтверждена и Н. И. Лорером.

«Болезнь Одоевского, – пишет он, – не уступала всем стараниям медиков. Раевский с первого дня его болезни предложил товарищам больного перенести его в одну из комнат в новоустроенном форте, и добрые люди, на своих руках, это сделали. Ему два раза пускали кровь, но надежды к спасению не было. Весь отряд и даже солдаты приходили справляться о его положении; а когда он скончался, то все – штаб и обер-офицеры отряда пришли в полной форме отдать ему последний долг с почестями, и даже солдаты нарядились в мундиры. Говорят, что когда Одоевский лежал уже на столе, на лице его вдруг выступил пот... Все возымели еще луч надежды, но скоро и он отлетел! До могилы его несли офицеры. За новопостроенным фортом, у самого обрыва Черного моря, одинокая могила с большим крестом; но и этот вещественный знак памяти недолго стоял над прахом того, кого все любили. Горцы сняли этот символ христианский».<sup>101</sup>

«Касательно могилы Одоевского, – пишет Розен, – есть разногласные мнения: одни уверяют, что весной 1840 года горцы овладели фортами, построенными на восточном черноморском берегу, где эпидемия значительно уменьшила личный состав гарнизона. Неприятель не только перерезал в фортах весь гарнизон, но и вырыл из земли мертвые тела и бросил их на съедение шакалам. Другое предание гласит, что между этими дикими горцами был начальником офицер, бывший прежде в русской службе и знавший лично Одоевского; он удержал неистовых врагов, которые почтили могилу Одоевского, когда услышали, чей прах в ней покоится».<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 17–18.

<sup>100</sup> Воспоминания Г. И. Филипсона. С. 202–204.

<sup>101</sup> Из записок Н. И. Лорера. – Русский архив. 1874. II, с. 651.

<sup>102</sup> Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 19, 20.

## X

Таковы сведения о жизни этого несчастного человека...

Все, с кем случай его сталкивал, остались под обаянием его личности, «красивой, кроткой, доброй и пылкой». <sup>103</sup> «Кроме истории или повествования о великих событиях, – говорил один из его товарищей, всего ближе к нему стоявший, – есть история сердца, достигающая широких размеров в самой тесной темнице, а сердце Одоевского было обильнейшим источником чистейшей любви; оттого он всегда и везде сохранял дух бодрый, веселый и снисходительный к слабостям своих ближних». <sup>104</sup> «Этот злополучный юноша скорее собою пожертвует другому, чем спасется гибелью невинного», – говорил про него другой приятель, <sup>105</sup> и не нашлось ни одного человека, который сказал бы про него дурное слово, кроме его самого: «Я от природы беспечен, немного ветрен и ленив», – говорил он своим судьям; и, действительно, помимо этих прегрешений, едва ли кто мог бы указать на иные в его характере.

Был момент в его жизни, когда под тяжестью обрушившейся на него, как ему казалось, непоправимой беды он в полусознании бормотал бессвязные речи и в страхе был слишком откровенен – но кто решится осудить его за это? Надо простить этот невольный грех, тем более, что он произошел из одного лишь чистосердечия и сентиментальной доверчивости к начальству, в котором он видел прежде всего «людей», а потом уже «судей». Пусть был грех, но было и искупление. И в этом искуплении Одоевский проявил большую твердость духа...

Но лучшим оправданием его служит та теплота и нежность, какой он согревал всех, с кем делил чашу жизни. Он остался в памяти людей как поэтический образ кроткого страдания, нежной дружбы и человеколюбия. Таким перешел он и в потомство, которое, как многие надеялись и хотели, должно было забыть его, но не забыло.

Еще при его жизни одна из его знакомых В. С. Миклашевич хотела спасти его образ от забвения и посвятила вымышленному описанию его жизни целый роман «Село Михайловское». <sup>106</sup> Герой этого романа Александр Заринский – призванный спасать всех угнетенных – и есть наш скромный Александр Иванович. «Он был необыкновенно приятной наружности. Бел, нежен; выступающий на щеках его румянец, обнаруживая сильные чувства, часто нескромностью своей изменял его тайнам. Нос у него был довольно правильный; брови и ресницы почти черные; большие синие глаза, всегда несколько прищуренные, что придавало им очаровательную прелесть; улыбка на розовых устах, открывая прекрасные белые зубы, выражала презрение ко всему низкому. Кто не умел понять его души, тот считал его гордецом и “философом”, считал его даже опасным человеком, умеющим наизусть цитировать Вольтера. Но Заринский был только масон, и никогда еще в истинном рыцаре не было столько христианского смирения,

<sup>103</sup> Каратыгин П. Воспоминания. – Русская старина. 1875. Т. XII, с. 736.

<sup>104</sup> Розен А. – Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского. С. 9.

<sup>105</sup> Гастфрейнд Н. Кюхельбекер и Пушкин..., с. 36.

<sup>106</sup> Роман «Село Михайловское или помещик XVIII столетия» был написан в 1828–1836 годах, но по цензурным условиям увидел свет лишь в 1866 [в 1865. – *Ред.*] году. Три главных действующих лица этого романа: Заринский, Ильменев и Рузин списаны – как утверждают близкие знакомые автора – с кн. Одоевского, Рылеева и Грибоедова. Действие рассказа происходит в XVIII веке, в кругу старой помещичьей жизни и вертится, главным образом, вокруг разных любовных интриг, описанных и развитых в стиле старых романов «с приключениями». Автор подражал, очевидно, Вальтеру Скотту, но не вполне удачно. Рассказ страшно растянут (4 тома) и полон совсем невероятных драматических положений. Роман имеет, впрочем, и свои достоинства (которые заставили Пушкина похвалить его, когда он прочел первые главы в рукописи). Несмотря на все невероятности интриги (даже мертвые воскресают), рассказ в некоторых своих частях правдив и реален. Хороши, например, описания быта духовенства высшего и низшего (в литературе 30-х годов нет этим описаниям параллели – в чем их большая ценность) и очень правдивы рассказы о разных помещичьих насилиях над крестьянами (эти страницы и сделали невозможным появление романа в печати). Нужно отметить, что во всем ходе рассказа нет решительно ничего схожего с историей декабрьского происшествия или с историей жизни того или другого декабриста. (*Данилов И.* Забытая писательница – Исторический вестник. 1900. Июль, с. 193–205).

благочестия и доброты. Он был ангел-хранитель и защитник простого народа; он защищал его в деревнях от помещиков, в судах от судей, в кабинете губернатора от чиновников, и народ боготворил его. Конечно, в награду за свои добродетели он получил нежную любящую супругу и все блага тихой счастливой семейной жизни».<sup>107</sup>

Бедный Александр Иванович за свои добродетели награды в сей жизни не получил, и портрет его в этом романе, конечно, сильно идеализирован. Но надобно было иметь много доброты и тепла в своей душе, чтобы послужить оригиналом для столь рыцарски благородного портрета.

Лермонтов глубже проник в душу Одоевского, когда писал:

Он был рожден для них, для тех надежд  
Поэзии и счастья... Но, безумный —  
Из детских рано вырвался одежд  
И сердце бросил в море жизни шумной,  
И свет не пощадил – и Бог не спас!  
Но до конца среди волнений трудных,  
В толпе людской и средь пустынь безлюдных  
В нем тихий пламень чувства не угас:  
Он сохранил и блеск лазурных глаз,  
И звонкий детский смех, и речь живую,  
И веру гордую в людей и жизнь иную.

Но он погиб далеко от друзей...  
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!  
Покрытое землей чужих полей,  
Пусть тихо спит оно, как дружба наша  
В немом кладбище памяти моей!  
Ты умер, как и многие – без шума,  
Но с твердостью. Таинственная дума  
Еще блуждала на челе твоём,  
Когда глаза сомкнулись вечным сном;  
И то, что ты сказал перед кончиной,  
Из слушавших тебя не понял ни единый...

И было ль то привет стране родной,  
Название ли оставленного друга,  
Или тоска по жизни молодой,  
Иль просто крик последнего недуга,  
Кто скажет нам?... Твоих последних слов  
Глубокое и горькое значенье  
Потеряно... Дела твои, и мненья,  
И думы, – всё исчезло без следов,  
Как легкий пар вечерних облаков:  
Едва блеснут: их ветер вновь уносит;  
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит...

И после них на небе нет следа,

---

<sup>107</sup> Село Михайловское. СПб., 1865. I, с. 53, 55, 57, 60, 65, 207, 208, 227; II, с. 134, 213; III, с. 4, 7, 10, 213, 223.

Как от любви ребенка безнадежной,  
Как от мечты, которой никогда  
Он не вверял заботам дружбы нежной...  
Что за нужда! Пускай забудет свет  
Столь чуждое ему существованье:  
Зачем тебе венцы его вниманья  
И терния пустых его клевет?  
Ты не служил ему. Ты с юных лет  
Коварные его отвергнул цепи...

К счастью, следы от дум Одоевского, вопреки его собственной воле, остались. Друзья не дали затеряться его стихотворениям, и в них сохранен для нас настоящий смысл его страдальческой жизни, – жизни в мечтах и в размышлениях. Это была жизнь очень интимная, ряд бесед с самим собою, в которых воспоминания отодвигали на задний план все надежды и упования, и раздумье брало верх над непосредственным ощущением действительности.

## XI

Современники ценили высоко поэтический отголосок этой интимной жизни. Товарищи считали Одоевского способным «свершить поэтический труд на славу России»,<sup>108</sup> они утверждали, что лира его «всегда была настроена, что он имел большое дарование и дар импровизации».<sup>109</sup> Один из них говорил, что «Одоевский – великий поэт и что если бы явлены были свету его многие тысячи (?) стихов, то литература наша отвела бы ему место рядом с Пушкиным, Лермонтовым и другими первоклассными поэтами».<sup>110</sup> Конечно, все эти похвалы – преувеличение, но людей, готовых преувеличить его силы как поэта, было среди его современников много. В 1839 году графиня Ростопчина писала в одном частном письме В. Ф. Одоевскому: «Сюда на днях должен прибыть ваш двоюродный брат, и я горю нетерпением с ним познакомиться. В детстве моем семейство Ренкевичевых представляло мне его идеалом ума и души... Говорят, что он много написал в последние года и что дарование его обещает заменить Пушкина, и говорят это люди умные и дельные, могущие судить о поэзии».<sup>111</sup>

Но вернее, чем его поклонники, свои силы оценивал сам Александр Иванович.

В Чите в 1827 году он отозвался на смерть Веневитинова<sup>112</sup> таким глубоко прочувствованным стихотворением:

Все впечатленья в звук и цвет  
И слово стройное теснились;  
И Музы юношей гордились  
И говорили: «Он поэт!»  
Но нет; едва лучи денницы  
Моей коснулись зеницы, —  
И свет во взорах потемнел:  
Плод жизни свеян недоспелый!  
Нет! Снов небесных кистью смелой  
Одушевить я не успел;  
Глас песни, мною не допетой,  
Не дозвучит в земных струнах,  
И я – в нетление одетый...  
Ее дослышу в небесах.  
Но на земле, где в чистый пламень  
Огня души я не излил,  
Я умер весь... И грубый камень,  
Обычный кров немых могил,  
На череп мой остывший ляжет  
И соплеменнику не скажет,  
Что рано выпала из рук  
Едва настроенная лира,  
И не успел я в стройный звук

---

<sup>108</sup> Розен А. Записки. Лейпциг, 1870, с. 364.

<sup>109</sup> Розен А. Записки. С. 260.

<sup>110</sup> Беляев А. Воспоминания декабриста. С. 206.

<sup>111</sup> Из Пятигорска. – Русская старина. 1904. Июль, с. 161.

<sup>112</sup> С Д. В. Веневитиновым Одоевский первый и единственный раз встретился в 1824 г. на балу у гр. Апраксина. Веневитинов произвел на Одоевского глубокое впечатление своей «меланхолией, полной грусти улыбкой и иронией». Стихи Веневитинова Одоевский ценил высоко за их «глубокое чувство, столь редко встречающееся в русских стихотворениях».

Излить красу и стройность мира.

*[«Умирающий художник»]*

В Веневитинове Одоевский отпелал самого себя.

## XII

Литературное наследство Одоевского неравного достоинства. Одоевский-лирик, поэт личных чувств и настроений, несравненно выше Одоевского-литератора, защитника и проводника известного литературного направления в нашей словесности.

А князь Одоевский, несмотря на свои юношеские годы, еще на свободе успел себя приписать к определенному литературному лагерю, успел даже тиснуть две статейки, в которых попробовал свои силы как критик и журнальный наездник.<sup>113</sup> Он выступал в них, как все его поколение, поборником «романтической» поэзии и тесно связанной с ней «народности». Как большинство его соратников в этом деле, он едва ли мог теоретически вывести формулу пресловутого «романтизма», не запутавшись в противоречиях; да он, впрочем, и не пытался вывести ее, а просто заявлял при случае о своем недовольстве приемами старого классического искусства и тем несоответствием этого искусства с «природой», какое он подмечал в старых образцах. В своей критической статейке «О трагедии Ротру “Венцеслав”» он, после многих колкостей по адресу старины, призывал наших поэтов не бояться нововведений, «когда таковые, не касаясь законов природы и искусства, клонятся к избавлению от излишних уз».

При такой любви к новизне в искусстве Одоевский имел, однако, большое пристрастие к старине народной. Он был патриот в искусстве и хотел, чтобы народный сюжет и по возможности народная форма проникли в нашу поэзию.

Эта любовь к самобытной русской литературе заставила его еще в самые юные годы заняться изучением нашей словесности со времен самых древних.

Ролью историка литературы Одоевский, однако, не ограничился: ему хотелось иллюстрировать свои исторические знания собственными поэтическими произведениями с более или менее широким общим замыслом.

До нас дошли две таких попытки, за которыми остается известное историко-литературное значение, хотя их художественная стоимость более чем скромная. Упомянуть о них, однако, необходимо, чтобы указать на внешнюю связь поэзии Одоевского с господствующим в те времена стремлением к «народности» и «романтизму».

Насколько в своих лирических стихотворениях наш поэт самобытен и оригинален, настолько в этих опытах в «романтическом» и «народном» стиле он раб установившегося литературного шаблона. Таким является он, например, в своей неоконченной романтической поэме «Чалма», которая – не что иное, как вариация на старую тему борьбы свободного, страстного и наивного женского сердца с утонченно цивилизованным эгоизмом сердца мужского. Эту тему еще в двадцатых годах разрабатывал Пушкин, ее повторял затем Марлинский. Под пером Лермонтова она, как известно, была исчерпана, дополнена богатыми мотивами с резкой социальной и этической тенденцией и стала очень удобным предлогом для обличения различных извращений и недочетов нашей культуры. Одоевскому такое обличение было совсем несвойственно, и поэзии его не хватало страстности, чтобы удачно овладеть хотя бы только самой романтической завязкой этой темы, как, например, овладел ею Пушкин в своем «Кавказском пленнике». «Чалма» вышла каким-то недоноском: вместо настоящего пыла страсти получилось лишь нагромождение довольно откровенных картин и не совсем скромных образов; вместо яркого восточного колорита присутствовала лишь мозаика из некоторых общеупотребительных восточных слов, и, наконец, рассказ начинался в таком тоне, что трудно было понять, чем он должен кончиться – драмой или комедией. Первый опыт в романтическом стиле оказался промахом; Одоевский понял это и от дальнейшей работы над поэмой отказался.

---

<sup>113</sup> О трагедии «Венцеслав», сочинение Ротру, переделанной г. Жандром. – Сын Отечества. 1825. Т. XCIX; Перечень из писем к издателям «Сына Отечества» из Москвы. – Сын отечества. 1825. Т. СII.

Несравненно более удачна оказалась другая попытка Одоевского выйти из сферы стихотворений чисто личного характера: длинная, в четырех песнях, историческая поэма об ослеплении князя Василька.<sup>114</sup> Одоевский работал над ней, кажется, около трех лет (1827–1839). Труд был не из малых – как может подтвердить любой лирик, которого обязали бы написать на одну тему 150 строф по 8 строк каждая. Одоевский предпринял этот подвиг умышленно, в интересах словесности «народной и самобытной».

Опыт этот показал прежде всего, что еще до ссылки поэт успел запастись весьма солидными историческими и археологическими сведениями. Их хватило не на какую-нибудь балладу или песню, а на целую бытовую картину далеких туманных времен.

Таких поэм, как «Василько», писалось в те времена немало. Они были весьма популярны как первые попытки использовать народный сюжет для литературных и, главным образом, патриотических целей и притом использовать его на новый лад, в стиле западноевропейского романтизма. Читая поэму Одоевского, можно, действительно, подумать, что она – переложение на русские нравы какой-нибудь рифмованной повести Вальтера Скотта. Даже «чудесное», которое Одоевский особенно тщательно старался выдержать в русском стиле, смахивает на простое подражание столь распространенному тогда на Западе фантастико-мистическому символизму.

Содержание поэмы умышленно запутанное. Краткий летописный рассказ об ослеплении Василька давал мало пищи для вдохновения. Автору пришлось разбавлять рассказ собственным вымыслом. Этот вымысел мало оригинален: автор либо повторяет общеевропейские мотивы романтики, рисует соответствующие мрачным деяниям мрачные ночные пейзажи, описывает таинственные появления и исчезновения действующих лиц, рассказывает о тайных собраниях и свиданиях, изображает ужас темниц и подземелий и т. д., либо он повторяет опять-таки условные, в изобилии тогда встречавшиеся, но уже русские, народные мотивы: описывает какую-нибудь отеческую беседу князя с народом, в которой князь обнаруживает всю свою патриархальную душевную благодать, а народ – свойственную ему покорность и сметливость; рассказывает о княгине, которая льет горючие слезы и полна страха ввиду зловещего сна или гадания; описывает красоты престольного Киева-града, съезд князей и обед, который по сему случаю был предложен и боярам, и нищим; рассказывает, как на этот княжий пир является неизбежный Баян – совсем как трубадур или менестрель в рыцарский замок.

Поэт этот Баян хвалу киевскому князю Святополку за его гостеприимство, но примешивает к своей хвале зловещее пророчество об ослеплении Василька и, пользуясь правом, которое ему на сей случай пожелал дать Одоевский, говорит с укоризной пирующим князьям о слезах родного «убогого» народа:

Видел я мира сильных князей,  
Видел царей пиროванья;  
Но на пиру, но в сонме гостей  
Братий Христовых не видел.  
Слезы убогих искрами бьют  
В чашах шипучего меда.  
Гости смеются, весело пьют  
Слезы родного народа.  
Слава тебе! Ты любишь народ,  
Чествуешь бедных и старцев.

<sup>114</sup> Первая, вторая и четвертая часть поэмы сохранились: третью потерял Беляев. В ней был заговор Давида о погублении Василька, вступление Василька с дружиной в Киев, посещение ими храма, раздача милостыни, наконец, явление Василька во дворец к Святополку, его арест и отправление за город. (Русская старина. 1882. XXXIV, с. 564).

Слава из рода в будущий род,  
Солнышку нашему слава!  
Ты с Мономахом Русь умирил  
Кроткой, могучей десницей;  
Тучи развея, ты озарил  
Русское небо денницей.  
Слава князьям! Но в стае орлов  
Слышите, грает и ворон.  
Он напитался туком гробов;  
Лоснятся перья от крови:  
Очи – красу молодого чела —  
Очи, подобны деннице,  
Он расклевал – и кровью орла  
Рдеется в орлей станице.

Баяна сменяет опять традиционное лицо злодея, который вступает в союз с темными силами, чтобы погубить свою несчастную жертву. Вокруг Василька сплетается целая адская интрига, впрочем, не вполне нам ясная, так как третья часть поэмы утрачена. В последней части описывается, и притом весьма реально, вся омерзительная сцена ослепления.

Нетрудно догадаться, что именно заставило Одоевского остановиться на этой совсем не благодарной теме. Для него в ней крылся символический смысл. Несчастный князь Василько, низвергнутый нежданно с высоты своего положения в такую пучину несчастья и смирившийся духом, был историческим призраком, в который Одоевский облек свое собственное настроение – преклонение перед высшей волей, которой он сам свою несчастную судьбу доверил.

Религиозная тенденция поэмы, действительно, просматривается очень ясно. Автор, вопреки истории, перенес умышленно в эпоху, когда жил Василько, ту резкую борьбу христианства и язычества, которая отмечала собой первые годы христианского просвещения России. Все чудесное и фантастическое в поэме пригнано к этому мотиву борьбы двух религиозных начал. Как в исторических романах из жизни императорского Рима, – перед нами два русских Киева, один – надземный, христианский, другой – языческий, подземный, и этот подземный, пожалуй, красивее правоверного. Одоевский с особой тщательностью украшал его разными фантастическими и археологическими подробностями, желая быть по возможности «самобытным». Чтобы дать образец этой «самобытности», конечно, поддельной, приведем несколько строк из той славянской «Вальпургиевой ночи», которую поэт вклеил в свою поэму. Она, несмотря на всю фальшь, – самый образный и поэтический эпизод его рассказа.

Автор рассказывает, как князь Давид, главный виновник погубления Василька, идет совещаться с подземными силами в пещеру около Киева, где по ночам совершаются жертвоприношения уже давно поверженному Перуну. Рассказ длинный, с подробным описанием пещеры и привидений, которые ограждают к ней доступ, с описанием какой-то страшной девы, с мечом и светочем в руке, не то прорицательницы, не то фурии, – одним словом, с богатым инвентарем романтических ужасов. Упоминаются, конечно, и все истинные и мнимые божества русской мифологии – Перун, Стрибог, Велес, Купала, Коляда, Ладо и Дажбог. В присутствии всех этих зловещих призраков разыгрывается сцена заклинания и проклятия христианского Киева. И вот какие мелодичные стихи попадают в этой сцене:

*Хор жрецов:*  
Грудных младенцев, непричастных  
Греху отцов,  
Несите, ведьмы и русалки,

Пред лик богов!  
Мы на костре сожжем начатки  
От их волос,  
Чтоб сын славян богам славянским  
Во славу рос.

*Три ведьмы:*  
Мы змеєю зашипели  
И как вихорь понеслись;  
С визгом в теремы влетели  
И детей из колыбели  
Мы схватили и взвились.

*Все ведьмы:*  
Цепки у ведьмы медвежие лапы,  
Лёгок наш конь-помело,  
Свищем и скачем, пока на востоке  
Не рассвело.

*Русалки:*  
Неслышной стопою  
Касаясь земли,  
Мы руку с рукою,  
Как ветви, сплели.  
Мы песнь напевали  
И в лунных лучах,  
Как тени, мелькали  
На Лысых горах.  
Мы дев заманили  
На песенный глас,  
Вкруг липы водили,  
И с каждой из нас,  
Смеясь, целовались  
Они сквозь венки  
И с нами сплетались  
В русальный кружок.  
Вот сходим. Как птицы,  
Поем и летим,  
Со смехом в светлицы  
Порхнем к молодым;  
То шепотом сладко  
Над люлькой поем,  
Поем и украдкой  
Дитя унесем...

Всем этим бесовским призракам Одоевский готовил в конце своей поэмы полное посрамление. Свершить злое дело им удалось, но все их чары были бессильны перед духом праведника. Слепленный Василько утратил способность зреть внешний свет; но тем ярче продолжал ему светить свет внутренний.

И нигде религиозная идея всей поэмы не выражена так ясно, как в заключительных словах, которыми священник поясняет всем присутствующим значение совершившегося пред их лицом преступления:

Пред Спасом не виновен Василько,  
И пред людьми страдалец не виновен:  
Пройдут князья, пройдет и суд князей;  
Но истина на небе и в потомстве,  
Как солнце просияет!

С известным правом эти слова можно отнести и к самому автору.

И для него, которому перестала светить «денница жизни», которому «целый мир стал темницей», – и ему продолжал светить тот внутренний свет, в котором и заключался весь смысл и все движение его земной жизни.

Какой облик приняла духовная сторона этой жизни под лучами такого света – нам покажут сейчас стихотворения, писанные им для себя, в свое утешение и свою защиту, а не для обороны чего-либо постороннего, хотя бы и столь дорогого писателю, как «самобытная» литература его родины.

### ХІІІ

В одном стихотворении, посвященном памяти отлетевших от него милых образов, Одоевский очень картинно и верно назвал всю свою духовную жизнь «воспоминанием о красоте мира сквозь сон». Действительно, он жил только воспоминаниями, и в них ему всегда светила красота недоступного для него мира. Жизнь успела подарить Одоевскому только первую свою улыбку – именно в те ранние годы, когда человек смотрит на такую улыбку как на залог грядущего долгого счастья, как на намек возможного в мире блаженства; и наш поэт, в силу особых условий его блестящей и счастливой юности, мог быть легче, чем кто-нибудь, прельщен таким ранним приветом жизни. Когда он готовился проверить ее обещания, когда он ей задал первый серьезный вопрос и поставил первое свое требование, – он в один день и навсегда потерял сразу все, что люди теряют постепенно и к чему они, ввиду такой медленной утраты, становятся мало-помалу равнодушны. Одоевский очутился в совсем особом положении; он не знал медленного угасания надежд, не испытал, как одна за одной гаснут путеводные звезды, его сразу окутала тьма, и он продолжал любить, безумно любить жизнь, создавая в мечтах ее пленительный образ по тем мимолетным воспоминаниям, которые сохранил о ней.

При всем печальном колорите его стихотворений – печальном потому, что правдивом, – в его стихах нет и тени пессимизма. Как бы он ни скорбел о себе – он был далек от всякой скорби о жизни; он приветствовал ее где только мог, и каждый, самый мимолетный веселый луч ее, случайно падавший в его темницу, он встречал с благодарностью и радостью.

Эта веселая благодарность была приветом той жизни, которая с ее светом и движением, как неизвестный заповедный рай, начиналась за оградой его собственного существования.

Мир мечты не мог быть для Одоевского тем, чем он был для многих других, которые, идя свободно своей дорогой, пресытись обманами жизни, говорили, что все, кроме мечты, – суета и разочарование, что красота и блаженство не в сближении с миром, а в отдалении от него, что счастье – в мечтах, а не на земле. Для Одоевского такое утешение в мечтах существовало лишь наполовину. Его мечта была лишь «воспоминанием о красоте жизни», которая не обманула его, не надоела ему, а наоборот, прельщала его издали.

Мечта, поэтическое творчество и тот веселый «мир», красоту которого он силился припомнить, слились в его представлении в одно неразрывное целое. Одоевский верил, что если все материальные его связи с этим миром порваны, то все-таки в его мечте осталась одна связь, неуловимо тонкая, но вместе с тем самая крепкая, которая пока цела и не даст ему погибнуть в одиночестве. Провожая последний «лучезарный хоровод блеснувших надежд», он молил эту воздушную деву-мечту запоздать своим отлетом; ее одну «неотлетного друга», просил он побыть с ним, в залог того, что всякая мечта не есть случайное видение, что в ней дано общение с другими людьми, что она может присниться и другому и на ту же высоту вознести думы ближнего:

Промелькнул за годом год,  
И за цепью дней минувших  
Улетел надежд блеснувших  
Лучезарный хоровод.  
Лишь одна из дев воздушных  
Запоздала. Сладкий взор,

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.